



НИНА ВЕНИАМИНОВНА ХАЭТ АВТОБИОГРАФИЯ (Начало 2002 год)

Как мой папа был маленьким и о его молодости до революции (1)

Я не буду придерживаться хронологии или каких-то дат, а напишу только о том, что оставило след в моей памяти, или просто чем-то поразило меня.

Сначала мне хочется описать все наши семейные предания, т. е. то, чему я не могла быть свидетелем, но много раз слышала от своих родителей и их друзей. То, о чём я слушала каждый раз с замиранием сердца и жгучим любопытством, даже, если это всё я уже слышала в десятый раз. Там много и страшного и смешного, а смешного обязательно, т. к. иначе в нашей семье ничего не рассказывалось, вернее всегда этим заканчивалось.

В детстве я смешное не очень понимала, но в последствии я стала вникать в суть и тоже смеялась с удовольствием со всеми.

Ну прежде о том, как мой папа был маленьким. Он родился в религиозной еврейской семье, исполняющей всё, что положено по Торе. Но ко всему этому они оказались простые, но очень весёлые и музыкальные люди. Каждую субботу они садились за стол и пели. Пели, как говорил папа, очень красиво и на разные голоса. И обязательно раз в месяц ходили в театр, но только на оперу.

Родился папа в Вильно в 1896 году, теперь это Вильнюс. Но, когда папе исполнилось пять лет, они переехали в Одессу. В этом городе находился очень красивый театр, одесситы поговаривали, что это второй в мире — по красоте театр, а вот какой первый, я не помню. И, конечно, хотя являлись они людьми небогатыми, но путём строгой экономии, им удавалось отложить деньги на театр, на галёрку. Галёрка — это самый высокий балкон, куда продавались билеты без мест, но очень дёшево. Папа рассказывал, что первый его спектакль, который он смотрел — «Отелло». Ему было тогда восемь лет. После этого он просто сошёл с ума. Он бредил театром, делал себе костюмы и декорации из картона, бумаги и фольги. Его мама говорила: «Нет! Вы посмотрите на этого мальчика! Что вы с ним сделали! Он совсем сошёл с ума! Театр! Ха! Театр! Как бы он не дошёл до того, что нам придётся его отправить на «Канатчиковую дачу!..»

Раньше я думала: «Ну и что? Чем плохо поехать на дачу?»

Но потом я узнала, что там сумасшедший дом.

И папу стали брать на все спектакли, когда его семья ходила в театр.

Он много хворал. У него часто болели уши, горло и текло из носа. Интересно, что уже во взрослом состоянии, он вообще никогда не болел и вырос очень закалённым человеком. Правда, в этом только его заслуга. Так вот, часто его не выпускали на улицу. Он сидел дома и рисовал. И, видимо, рисовал хорошо. В папиной семье росло трое детей — старший брат Осип, средняя сестра Рива — и он, младшенький — мизинчик, Вениамин, и, конечно, он превратился в любимца всех. И, как во всякой еврейской семье, где особого достатка не было, но уже все работали, решили, что младшего надо учить. И отдали его обучаться рисованию.

«Пусть будет в нашей семье художник. Он напишет портреты и разбогатеет».

Двоюродный брат его мамы — очень неплохой художник, он согласился учить папу. Но вот беда. Художник сажал папу за мольберт, давал задание — и ... оставлял одного в комнате. Не знаю почему, но папа никогда не мог оставаться один. Не понимаю, чего он боялся, но это осталось у него до самой смерти. И папа решил сбегать. Его посадят, а он убежит. Родители думают, что он на занятиях, а папа мой бегаёт по улицам. Телефонов тогда не существовало, жил этот художник далеко, и долгое время папины родители ничего об этом не знали. Он вовремя приходил домой и всё. Но однажды этот художник пришёл к ним сам и сообщил, что этот маленький лентяй никогда не станет никем, т. к. такого лодыря ещё свет не видел и, очень рассерженный, ушёл. Папины родители очень удивились, т. к. папа дома мог рисовать, что-то мастерить и придумывать себе всевозможные игрушки часами. Но папа

не хотел рассказывать родителям о своих страхах, и они оставили его в покое:

«Не хочешь учиться на художника, не надо, будь грузчиком...»

Надо сказать несколько слов о моём дедушке — папином папе. Это был человек абсолютно незаурядный. В молодости он действительно служил грузчиком, небольшого роста, но силы потрясающей. И ещё он придумал себе забаву — он выпивал рюмку водки и откусывал кусочек стекла, разжёвывал его и проглатывал. И ничего. Правда, к сорока годам он лишился всех зубов, и умер лет в шестьдесят от дизентерии.

Однажды, ещё до революции он исчез. И оставил записку: «Я вернусь только богатым». Бабушка осталась с двумя детьми. Папа ещё не родился. Что произошло с бабушкой, я могу себе представить. Ей помогли родственники. Через три года дедушка появился. Каким ушёл бедным, таким и остался. Оказывается, он объездил весь мир — всюду работал грузчиком. Посетил даже Америку. Выучил английский язык, и привёз множество иностранных песен, которые потом распевал по субботам. Он был очень добрым, но мог прийти в страшный гнев. Больше всех его доставал мой папа. Тогда дед брал кнут, настоящий извозчицкий кнут, который достался им от бабушкиного папы, который работал в Одессе биндюжником, и пытался поймать моего папу. И папа рассказывал: «Я бежал по двору так, что ветер свистел в ушах и кричал при этом так, что выглядывали соседи, и возмущались: «Ой! Что вы хотите от этого несчастного мальчика? Как можно бить ребёнка, да ещё кнутом, это Вам, что? лошадь?!»

Этим и кончалось. Дед рассмеётся и всё. Не в пример мне, когда я была маленькая, слушалась в детстве, и моя мама собиралась меня побить, она говорила: «Неси ремень». И я несла. Она потом удивлялась: «Ну что за дурная у меня дочь. Нет бы, убежать! Я бы потом и забыла...». И мне всегда доставалось. Вот поэтому, папины родители и говорили папе: «Будь грузчиком». Правда, потом папин папа освоил профессию портного и до конца своей жизни оставался портным, правда, не очень хорошим. Ну, а через год после эпопеи с рисованием папу решили посвятить музыке и повели его к частному учителю. Папа очень не хотел учиться музыке, но его убедили, что тогда в будущем он сможет работать в театре. И он принялся учиться. Как это всё произошло, почему он перестал посещать первого преподавателя, я не знаю. Но в тринадцать лет ему наняли очередную, очень молоденькую учительницу. Она оказалась хорошенькая, и, видимо одинокая, т. к. она влюбилась в папу и совратила. Подробностей тоже не припоминаю, но папа сохранил о ней самые тёплые воспоминания. А потом об этом узнали, назрел ужасный скандал. А что случилось потом, мне неизвестно. Знаю только, что в семнадцать лет он поступил в одесскую консерваторию и в 1918 году её закончил. В общем, просто успел, потому что в 1917 году Одесса ещё не

подчинилась советской власти. Считай, повезло. Но, ещё, учась в консерватории, папа начал подзарабатывать концертмейстером и тапёром на свадьбах, всевозможных вечерах. И однажды его пригласили аккомпанировать на балу одной из знаменитых певиц того времени.

В Одессе тогда собралось много людей из «бывших». На вечере присутствовало много графов и даже один князь — очень молодой. С ним папа подружился и они с ним кутили до утра, и кончилось тем, что папа уснул в зале, его везде искали и не могли найти. А потом папе здорово досталось от бабушки. Но с князем папа сохранил дружбу ещё на несколько лет, пока тот не уехал за границу. А вот фамилию, я его не помню. И ещё папа подзарабатывал в театре — играл в оркестре. Это была его первая работа в жизни. В театре находился буфет, где продавалось много очень вкусных вещей — конфет, пирожных, лимонадов. И папа в антракте шёл туда и покупал там себе чего-нибудь в кредит, под свою первую зарплату. А когда пришло время её получать, оказалось, что получать нечего — всё ушло в буфет — за конфеты, за пирожные, за лимонады. Это был удар! Но дома ждало ещё нечто хуже. Бабушка спрашивает моего папу: «Так, значит на свою зарплату ты поел конфеток?! Чудесно. У меня хороший сын, я горжусь своим сыном». Он спокойно идёт к двери, закрывает её на ключ, кладёт его себе в карман, берёт со стены кнут и ...: «Вот это тебе на конфеты, вот это тебе на пирожные, а вот это тебе ещё и на орехи!» Так моего папу впервые, в семнадцать лет, выпороли, запомнилась обида! Но... Это оказалось уроком на всю жизнь. Сколько я его помню, папа кусочка не мог съесть без нас с мамой. И всегда, всю зарплату он приносил домой. Ещё один раз папу выпороли, уже в восемнадцать лет, и тоже за дело. Папа страшно не любил, когда начиналась уборка в доме. Папу очень доброго человека уборка выводила из равновесия. Его отовсюду гнали, просили не ходить по не высохшему полу, переводили из угла в угол. И однажды папа прибежал за чем-то домой. Тут его сестра Рива моет пол и не разрешает ему пройти туда, куда ему очень нужно. Папа с досады готов был на всё. И тут на глаза ему попадает злосчастный кнут. Не долго думая, папа хватается кнут, размахивается и... хват, сестру по ногам! Что тут началось! На беду папы бабушка оказался дома. Всё остальное пошло по тому же сценарию. Папа и в старости не смог объяснить, как ему взбрело в голову ударить сестру. Он очень нежно её любил, а она его, вообще, обожала.

Конечно, больше с этим кнутом никаких историй не происходило, но папа помнил об этом всю жизнь, и несколько раз делился об этом со мной.

Но вообще с ним случалось множество интересных историй, так как наступало время особенное — гремела революция, гражданская

война и война отечественная. Конечно, хронологически я ничего не могу выстроить в ряд, но вот, что я слышала, я расскажу.

Папа революцию принял с восторгом потому, что он — еврей, а для евреев в Царской России существовало множество запретов. Во-первых, черта оседлости. Евреи не имели права жить в больших городах, особенно в Москве, Петрограде, Киеве. Во-вторых, для евреев многие двери оказывались закрытыми. А тут революция! Всё можно! Очень скоро наступило отрезвление. Но первые годы казались ему такими счастливыми. Он стал дирижёром хорошего оркестра, который ездил с гастролями по городам. Папа завёл знакомство со многими замечательными людьми тех лет. Папа очень общительный, доброжелательный и хорошо воспитанный человек в те годы познакомился с певцом Утёсовым, писателем Катаевым и с разными известными музыкантами.



Однажды, я не знаю, где и как, папа с целой труппой актёров попал в плен к батьке Махно. Махно сразу дал распоряжение — «Всех жидов к стенке, кто тут жидаы — выходи!» Папа хотел выйти, но актёры его удержали. Тогда Махно говорит: «Нет жидов?! Сейчас проверю, скидывайте портянки». Что делать? — Сняли. «Ага, — говорит Махно, —обрезанный! К стенке!»

И тут все стали убеждать: «Он не еврей, он — татарин». А папа не ярко выраженный еврей — брюнет с голубыми глазами и небольшим носом. Махно не верит: «А ну, скажи по-татарски». У папы в Одессе жил друг — татарчонок, сын чистильщика обуви, общаясь с ним, папа выучил довольно много фраз. А память у папы — феноменальная. Папа взял и заговорил по-татарски. Его оставили в покое. А через день пришли красные, сначала всех освободили, а потом снова посадили папу в тюрьму потому, что не поверили, что папу, еврея — Махно оставил в

живых. Решили — что-то тут не то. И только делегация актёров, пришедшая вызволять папу, спасла его от тюрьмы.

Правда чаша сея его всё-таки не обошла. В 1950 году его репрессировали, как врага народа. Бог троицу любит. Но об этом потом. А сейчас о том, как папа женился. И немного о маме.

О маме я знаю очень-очень мало, т. к. мама не разговаривала много и не имела привычки рассказывать мне о себе, о своём детстве и о своих родителях. А замуж мама вышла в девятнадцать лет, так что вся её уже вполне сознательная жизнь прошла на глазах у папы. Мне известно только одно, и то с папиных слов. Во-первых, мама по национальности русская. Мамин папа, мой второй дед работал инженером, а учился он где-то за границей, и видимо, считался инженером хорошим, т. к. владел в Резекне (Латвия) большим и красивым домом на берегу широкого озера, которое тоже являлось их собственностью.

Зимой озеро замерзало, и на нём устраивался каток, куда приходили кататься на коньках все гимназисты и студенты с округи. Моя мама каталась замечательно, маленького роста, очень хорошенькая блондинка, с большой косой и кудряшками на лбу. Она училась в гимназии, когда в Латвию пришла советская власть. Родителей мамы раскулачили и выслали в город Прилуки, где дед по маме работал инженером принудительно.

Вот туда-то и приехал на гастроли оркестр, где мой папа работал дирижёром. Мама пришла на концерт с подружками и села в первый ряд, а папа увидел её и влюбился с первого взгляда. После концерта папа быстренько выскочил к выходу и успел поймать там маму. Так они познакомились. Папа проводил маму домой. Это произошло в среду. В четверг и в пятницу они не расставались. Мама сидела на всех репетициях, на всех папиных концертах. Они гуляли по парку, говорили и говорили. А в субботу папа пришёл к маминим родителям просить её руки. Родители стояли в шоке. Но тут хитрые мама с папой принялись рассказывать им сказки о том, что они, дескать, давно знакомы, что давно любят друг друга и всё такое. А папа мой вдруг говорит: «Правда, я — человек уже пожилой, это не мешает мне любить вашу дочь так, как если бы я оказался молодым». А было ему двадцать семь лет. Впрочем они уже в субботу и уехали в Одессу, к родителям папы.

Прожили они с мамой 51 год, душа в душу, нежно любя друг друга. А вот история с родителями папы оказалась ещё интереснее. Папины родители считали, что папа должен жениться только на еврейке. «Только через мой труп ты женишься на русской», — говорила его мама. А мама у него с очень сильным и даже суровым характером могла, обидевшись, не разговаривать целыми месяцами. Папа её очень любил и боялся. Ну и что же делать? Они придумали, что мама — еврейка, но светская, не религиозная.

В Резнике жила мамина подружка еврейка — Маня Шполянская. Мама знала много еврейских слов, да и внешне она походила на еврейку. Даже в будущем её часто принимали за еврейку. Папина мама поверила. Так во второй раз знание языков помогло моим родителям. И всё казалось бы хорошо потому, что они жили отдельно от родителей. Но однажды, когда папина мама тушила мясо, моя мама посоветовала ей налить туда сметаны, как это делали в её доме. Папина мама ничего не сказала. Она просто молча вышла из кухни и перестала не только разговаривать с папой, она перестала его замечать. Это длилось долго. Мои родители уезжали из Одессы, переезжали, но ничего не менялось. Их помирили только болезнь, а потом и смерть папиного старшего брата. Папина мама прожила до 80 лет, и до самой смерти бодро вела хозяйство. На старости лет ей пришлось колоть дрова для печки, так как она проживала одна. И в один из дней она колола дрова в 80 лет, вдруг топор выпал из её рук и её не стало. Я не знаю, в каком году это произошло. Меня ещё не было, потому что я родилась очень поздно в 1937 году. Я не видела никогда ни своих дедушек, ни бабушек, о чём очень жалею. А мамыны родители, когда Латвия отделилась от России, сумели перейти границу и уйти.

Мамина старшая сестра, красивая и умная вышла замуж за инженера-питейщика. В 1935 году её мужа арестовали, а через неделю и её. Впоследствии каким-то образом пришло известие, что их обоих расстреляли, якобы, как врагов народа. У них оставался сын, мальчик пяти лет, за которым однажды ночью пришёл мамин папа. Он снова перешёл границу, забрал мальчика, и больше мама его никогда не видела. После войны мама пыталась найти родителей, но через официальные каналы искать побоялась, так она до конца жизни и не узнала, где жили, когда, и где умерли и похоронены её родители. Жив ли её племянник и другие родственники?

Со стороны папы у меня осталось много родных, я их знала и любила, особенно тётю Риву. Об этом тоже потом. А со стороны мамы — никого. Мама, под влиянием папы окончила актёрские курсы и работала «характерной» актрисой. Тогда это называлось «ingénue — эн женю» из-за того, что она недостаточно высокого роста для «героини». Её это очень не устраивало и сердило. И, когда я родилась в 1937 году, она бросила сцену, и ни на какие уговоры не поддавалась, хотя многие считали, что она талантлива. Увы! Моя мама! Если она когда-нибудь сказала: «Я не люблю и не ем пирожных», то всё! она за всю жизнь свою больше не съела ни одного пирожного. Хотя раньше, по словам папы, мама их благополучно кушала. Вот такой у неё выработался характер. Мама у папы — не первая жена. Первая жена тоже русская. Но папина мама не считала её женой, в связи с тем, что они не расписались в загсе. Прожил папа с ней очень недолго. Она — балерина, папина ровесница,

очень красивая. Она, конечно, по словам папы, ему изменяла. Папа постоянно её ревновал, нервничал, уходил от неё, возвращался. Просто сходил с ума, но, в конце концов, он нашёл в себе мужество с ней порвать отношения. Вскоре он встретил мою маму и женился на ней уже официально. Однажды эта первая жена пришла к моей маме и долго плакала, уговаривала её бросить папу. Она говорила: «Вы молодая, хорошенькая, а мне уже почти тридцать, верните мне его». Маме казалось, очень странно это слышать, если эта женщина любила папу, то раньше, зачем его так мучила?

В НЭП молодым весёлым людям всё оказалось нипочём (2)



С мамой у папы сразу жизнь сложилась. Оба они оказались весёлыми, жизнерадостными и лёгкими на подъём людьми. Им сделалось легко друг с другом. Они оба любили театр. Мама никогда не ложилась спать, пока папа не придёт с работы. А работал он почти всегда в театре и часто возвращался очень поздно потому, что тогда спектакли и концерты начинались в девять часов вечера. Это в последствии спектакли стали начинаться всё раньше и раньше.

Мои родители принялись строить свою жизнь в тяжёлое время в 1923 году, когда в стране было холодно и беспокойно, гуляло много бандитов, воров и хулиганов. Вот в этот период мама и решила курить. Она курила до самой смерти и очень много, а папа не курил. Он никогда и не пытался ей запрещать курить, это ему даже нравилось.

Вот к этому времени и относится одна из очень смешных историй, рассказанных моими родителями. Однажды, среди ночи мама услышала скрежет снаружи по стеклу, водит какая-то рука. Тогда решётки на окна не ставили. Мама в любой момент оставалась находчивой и бесстрашной. Она разбудила папу и шепчет: «Веня, кто-то режет стекло». Папа проснулся и ничего не понимает. Мама встала, пошла в другой угол, и оттуда громко кричит: «Веня, где у нас ружьё, кто-то стекло режет?» Папа спросонья удивился и тоже отвечает во весь голос: «Гая, ты, что с ума сошла? Откуда у нас ружьё?!» Ну, тут мама схватила скалку и с ней подходит к окну и опять громко говорит: «А разве ты не знаешь, у нас Осип оставил». Тут рука исчезла. А под утро снова скрежещет. Но на улице уже светло, и мама видит, что это их кошка скребётся по стеклу. И точно, впечатление, что её голова — это кулак, и туловище — рукавицы какой-то. Мои, конечно, долго хохотали, и всем рассказывали, какой у меня папа «догадливый».

Папа мне рассказывал ещё одну смешную историю, это о тех временах, когда папа жил с родителями. В семье у них по традиции в столовой всегда горел ночничок. Как-то папин папа встал в туалет, и видит — ночничок потух. Он подумал: «Спички у меня в кармане пальто». Пошёл в переднюю, нашёл спички, и вдруг!...

Почти в то же время проснулась папина сестра — Рива. Пошла в туалет, увидела, что ночничок погас, и решила, где сейчас искать спички? Скорее, спички в кармане у отца. Она вышла в переднюю, нашла пальто, залезла в карман и вдруг... поняла, что она не одна, она схватила чью-то руку и дико закричала. Проснулись все и очень удивились, т. к. Рива кричала и папин папа. Все тут же кинулись в переднюю, но там темно. Все бросились к дедушкиному пальто. Они наткнулись на папиного папу с Ривой и тоже принимались безумно вопить, пока, наконец папина мама не сообразила и не принесла спички из кухни. Она прекрасно знала, где они лежали. Хохота до утра. Больше всех удивлялся дедушка, что он не узнал голоса своей дочери. Но, видно сделать это было очень трудно.

Мои родители любили вспоминать такие истории. Я унаследовала эту любовь и тоже всегда любила рассказывать, что приключалось очень часто со мной и с моим папой.

Мои родители во времена НЭПа всё ещё проживали в Одессе. Тогда появились трудности почти так же, как сейчас в России, — роскошные магазины ломались от товаров. Продавалось всё —

продукты, вино, роскошные туалеты, драгоценные украшения, фрукты. А вот денег у большинства людей не имелось. Работы тоже мало. Много хороших музыкантов, актёров слонялось в поисках подработки. Папины друзья собрались и придумали сколотить оркестр — поехать с гастролями по маленьким городкам. Так начались папины путешествия на поездах, лошадях, поводах, даже волах. Молодым весёлым людям всё оказалось нипочём, а это приносило деньги и продукты. И было весело. Они приезжали домой, нагруженные продуктами, устраивали праздничные вечеринки. О детях мама с папой тогда не думали. О папиной работе и успехах я мало, что знаю из-за того, что я тогда ещё не родилась. Но по его рассказам мне известно, что в то время папа начал писать музыку. Сначала для своего выездного оркестра — лёгкую, весёлую. А потом стал пробовать сочинять и что-то более серьёзное. Однажды папа познакомился с молодым начинающим режиссёром Казанского театра оперетты. Тому понравилась папина музыка, он предложил папе контракт на два года с выездом на это время в Казань. Папа посоветовался с мамой. Она согласилась, и папа заключил с театром договор. Он обязался писать для театра музыку и работать в нём дирижёром. Им предоставили чудесный номер в гостинице «Казанское подворье». И, вообще, это — очень выгодный контракт. Мама с папой с удовольствием вспоминали этот период, людей, с которыми приходилось сотрудничать и сам город. Папа там написал много хороших вещей. Вначале папе заказали оперетту «Любовь и доллары». Папа сел за работу. В первое время у него ничего не получалось. Он не спал ночами, нервничал, худел, выбрасывал написанное. Мама очень сердилась и повторяла, что он только зря переводит бумагу. Но когда наступил срок показа, это — триумф. Премьера прошла на ура. Множество раз композитора вызывали на сцену. Молоденькие девочки писали ему записки и дарили цветы. Эта оперетта в последствие обошла почти все театры России. По прошествии двух лет папе предложили новый контракт, тоже на два года в Москве, также в театре оперетты.

Там он познакомился со многими замечательными людьми.

Ещё, когда мама с папой ехали в поезде из Казани в Москву, они познакомились с одним молодым мужчиной, обаятельным, очень любящим музыку. Он услышал, что в купе у мамы с папой играет патефон с замечательными пластинками. А тогда патефон ещё был редкостью. Он постучал, представился, и они подружились. Его звали Николай. Он оказался молодым учёным. Так они приехали в Москву, где Николая встречала его жена, Нина. Прежде всего, она увидела маму, которой Николай помогал выйти из поезда. Она так разозлилась, что чуть не вцепилась ей в волосы. Но потом вышел папа. Он вообще оказывал на женщин магическое влияние, очень красивый, но не просто красивый, его лицо просто светилось добротой и вниманием. Но он — маленького

роста, что-то около метра шестидесяти трёх сантиметров, но широкоплечий, коренастый и сильный. Раньше я этого не понимала, но, видя постоянное внимание к нему со стороны женщин, это заметила и сама. Он до глубокой старости, и сам был не прочь поухаживать.

Жена Николая, сообразив, что это муж моей мамы успокоилась. Эти две пары дружили до конца жизни, хоть и жили в разных городах. Но каждый свой приезд в Москву, мои родители уже не расставались с ними за всё время своего там пребывания.

В тот свой приезд мои родители прожили в Москве несколько лет. И эта дружба, потрясающая дружба. И об этом нужно писать, и я напишу отдельно. Таким образом, мои родители объездили всю страну, они нигде не хотели задерживаться более двух лет, хотя их везде уговаривали остаться. В последствие, именно, это сослужило им огромную службу, ибо подходил тридцать седьмой год, страшное время, когда ни один человек неуверен в том, что завтра он не окажется на нарах. Переезжая из города в город, мои родители не успевали попасть в поле зрения местных КГБ, и это их спасало. Тридцать седьмой год они встретили в Перми, где я и родилась. Уже в два месяца мои родители увезли меня оттуда. Мы ехали в поезде несколько суток. Куда они направлялись, не знаю. В поезде я заболела, и мама с папой с трудом меня довели.

В Перми они жили в *доме Актёра*, там встречались многие актёры Драм. Театра, в основном молодые, бесшабашные и весёлые люди. Мои родители быстро с ними подружились. В то время не существовало телевизоров и все умели сами развлекаться, и часто после спектакля собирались у кого-нибудь на квартире, и ночи напролёт играли в преферанс или в «дурака», и много хохотали за игрой, подшучивали друг над другом.



А моя мама в то время вздумала учиться делать искусственные цветы из шёлка, бархата и других тканей. У мамы это здорово получалось. Вся квартира оказалась завалена такими лоскутами. Однажды, они собрались играть в карты у друзей этажом выше. Во время игры пришёл в этот дом один из друзей и говорит: «Галя, по-моему, у тебя пожар, дым так и валит. Но все подумали, что он шутит, и принялись хохотать: «Откуда же там дым? — Галка же тут?», — намекая на то, что мама курит. А папа в то время ездил в командировку. Он должен приехать на другой день. Мама тогда ходила беременная мною, и папа очень за неё волновался, забрасывая её телеграммами. Вечером этого дня папа прислал в телеграмме: «Что случилось? Отвечай на поезд!» Мама посмеялась и сказала: «Вот сумасшедший!» В эту же ночь молодой актёр, который сказал о дыме, продолжал настаивать, что у нас где-то что-то горит. Пока вспоминали, откуда можно позвонить, пока ходили смотреть, потом звонить, пожар разгорелся. Наконец приехала пожарная команда, но потушить удалось не сразу, занялись пол и потолок. В квартире сгорело всё, спасли только шубу, — её маме выбросили одеться. Это, действительно, страшно, а тем более мама ждала ребёнка.

Утром мама пошла на вокзал, встречать папу. Папа вылез из вагона, увидел маму и заплакал: «Ты жива? С тобой всё в порядке? Я видел ужасный сон. Но ты жива, Бог не оставил меня». Они поехали домой. А папа смотрит на мамины ноги и спрашивает: «Что за ужасные боты у тебя на ногах? А где твои?» И мама ему всё рассказала. Папа вдруг отвечает: «Славу Богу, славу Богу! Так это — всего лишь пожар?» Не волнуйся, мы с тобой всё купим новое, мы заработаем, главное ты и ребёнок живы...».

А пожар случился из-за маминой папиросы. Куча лоскутков упала в пепельницу, где тлел окурок. А рядом лежало множество таких же лоскутков. И вот... Хорошо, что через два месяца мама с папой уехали, т. к. потом принялись выяснять причины пожара, и могли бы приписать им диверсию. А объявлять всесоюзный розыск они не стали.

Теперь ещё нужно рассказать о приёмном сыне моих родителей. Когда моя мама с папой поженились, у папы старший брат Осип работал парикмахером, и у него росло трое детей старший — Гриша, средний — Рудольф и младший Арончик. В Одессе многие окна на первом этаже на ночь закрывались тяжёлыми железными жалюзи. Они складывались гармошкой и утром поднимались наверх. Парикмахерская Осипа с такими жалюзи. Однажды Осип их закрывал, но не закрепил, как следует, и они упали ему на голову. С этого времени у него начево охватывали сильные головные боли и через некоторое время он умер от рака мозга. Осталось трое детей и жена, не имеющая никакой специальности. Арончик родился всего несколько месяцев назад.

Старшему сыну стукнуло шестнадцать лет, и он пошёл работать вместо отца, хотя он казался очень музыкальным. Младший остался с матерью, а среднего — Рудика, которому тогда исполнялось пять лет, папа забрал к себе. Так мама в двадцать один год сделалась наставницей пятилетнего сорванца и непоседы. Что он только не проделывал за то время, что рос с ними. А жил он с ними долго, они всюду возили его с собой. И только то, что они переезжали из города в город, спасло Рудика от сидения в каждом классе по два года. Это оказался ещё тот мальчик. Из папиных рассказов я помню несколько историй с Рудиком.

Вот одна из них. Мама спрашивает: «Ты сделал арифметику?» — «Нет. Номера, что нам задавали, в задачнике нет...». Мама смотрит задачник и видит, что действительно нет. Что такое? Оказывается, он вырвал страничку. Уже вечер, идти спрашивать у кого-нибудь из его друзей поздно. Телефон тогда мало у кого имелся. Так и получалась очередная двойка.

Однажды он залез на дерево разорять гнездо галки. А галка принялась защищать свои яйца и вырвала ему клочок из головы. Получилась плешка с пятаяк. Пришлось ему обрить всю голову. Ну, уж тут мои родители ухотались. Всем рассказывали про его подвиги. Но Рудик очень любил моих родителей, и, как ни странно, больше любил мою маму. Они его никогда не ругали, только потом подшучивали.

Вот ещё случай, который мог бы закончиться трагически, и, если бы не папа, которого весь город знал и уважал потому, что в то время театры являлись самым большим развлечением в провинциальных городах, поэтому всех артистов знали наперечёт. А случилось вот что.

Рудик связался с какими-то парнями во дворе, и они уговорили его украсть из кассы кинотеатра билеты. А касса помещалась в какой-то будке, где их оставили на ночь. Мальчишки сломали замок, залезли и украли все билеты в кино. Их разделили поровну, и вот, не зная, что же с ними делать, Рудик начал раздавать их всем, кому хотел в школе. Дошло до директора. Его вызвали, учинили допрос. Он не пожелал выдавать друзей и сказал, что сделал это он один. Его отправили в милицию, и предъявили обвинение: «кража со взломом». А так как, он был несовершеннолетним, могли отправить в колонию для несовершеннолетних преступников. Позвонили папе, поэтому дело до суда не дошло. Но моим родителям пришлось отправить Рудика на несколько месяцев к его матери, где в Одессе он совсем отбилась от рук, и, как только очередной контракт у папы закончился, уехав из этого города, мама с папой снова к себе взяли Рудика. Он вообще оказался очень озорной и поразительно красивый мальчик. Уже в пятнадцать лет он сделался объектом пристального внимания девочек. Это его здорово испортило. Он так и остался ловеласом и баловнем женщин, и много крови попортил моим родителям.



В 1937 году, когда я родилась, моему брату исполнилось семнадцать лет, он захотел съездить к своей маме на несколько месяцев на море. Позже мы тоже приехали в Одессу, и он снова жил с нами. Он меня очень любил в детстве. Часто таскал верхом на шее, играл со мной. Но это продолжалось не долго.

Где-то в 1940 году мы все переехали в Ташкент. Моим родителям очень понравился Ташкент. Тогда он считался небольшим, но очень уютным, зелёным и весёлым городом.

С ранних лет родители начали учить брата музыке. Он оказался способным, но ленивым и легкомысленным. Папа в Одессе отдал его учиться в музыкальную школу. Но он постоянно сбегал с уроков, на уроках вёл себя плохо, и, в конце концов, его исключили. По переезде в Ташкент папа устроил его учиться в военное музыкальное училище при Ташкентском военном округе. Это замечательная школа. Там их обучали не только музыке и военному делу, но и танцам, манерам поведения, истории искусств, ну и конечно общее образование давалось на высоком уровне. Там он сделался хорошим музыкантом. Рудик играл на флейте. Конечно, до совершенства казалось ещё далеко. А впереди ждала война.



По воскресеньям Рудик приходил домой, я, говорят, его очень любила. Конечно, сама я этого не помню. Во время учёбы в училище, брат сделал что-то ещё, я даже не знаю что. К сожалению, я оказалась не любопытна, и так за всю жизнь не спросила — что же он совершил. Скорее всего, подрался. И перед войной его посадили. А учиться ему оставалось всего несколько месяцев. Когда началась война, его отправили воевать в штрафную роту, буквально с первых же дней войны. Он говорит, что это его спасло, т. к. в тюрьме Рудик со своим характером не выдержал бы. Возможно, так бы и умер за решёткой, или сделался бы настоящим преступником.

На войне он воевал с азартом и геройски, и его быстро перевели в обычные войска, где он добрался до Сталинграда. Он оказался одним из тех, кто остался жив, и уже в последнем бою его ранило и контузило. После Сталинграда Рудика отправили в ташкентский госпиталь. А после госпиталя его полностью комиссовали. Так он вновь попал в Ташкент. А Ташкент тогда делился на Старый и Новый город. Нам дали квартиру в Новом городе — очень хорошую квартиру. И мои родители быстро её обставили. Они решили пожить в Ташкенте подольше, а папа устроился работать в театре Музыкальной драмы. Он тогда много и плодотворно писал, дружил со многими интересными и талантливыми людьми, т.к. быстро сделался известным в городе. Он тогда сочинил много интересных произведений и его высоко оценил музыкальный мир Ташкента, который до войны считался вовсе не захолустным провинциальным городком, потому что являлся столицей Туркестана. Туда ссылали многих опальных больших художников, музыкантов, писателей. Так в 1937 году сюда отправили таких композиторов, как Козловский, Василенко, Мушель, Зейдман. Они стали, в последствие,

известны всему миру. Но об этом потом. А сейчас я просто хочу описать, как мы оказались в гуще войны.

Перед самой войной — в конце мая мы — я, мама и папа (Рудик тогда учился) поехали в отпуск — отдыхать на море, в Одессу. Там же жила с мужем папина сестра Рива. Родители не взяли с собой почти ничего из вещей, не захватили никаких документов — только паспорт и мою метрику.

В Одессе мама с папой снимали дачу у самого моря. И 14 июня — день моего рождения справляли на даче. Этот день я очень хорошо помню. Мне тогда исполнилось четыре года. С этого дня я очень многое помню, и мне легче всё это рассказывать, т. к. это уже всё и моя история.

Я начинаю помнить с того момента (3)



Я помню свой день рождения. Вернее не то, что мы называем днём рождения. Ни гостей, ни застолья я не помню. Я помню до и после. По-видимому, накануне я ночевала у тётки Ривы. Светит яркое солнце мне прямо в глаза, и я просыпаюсь. В комнате никого, но мне не страшно, потому что я слышу, что в кухне тётка Рива чем-то стучит, и я знаю, что это она сбивает яйца для моего именинного торта. И я сразу вспоминаю, что у меня день рождения, что я уже совсем большая, мне четыре года. И вдруг я вижу у себя над головой две длинные нитки, свисающие с потолка, а на нитках, на самом потолке висят два огромных воздушных шара. Я вскакиваю и хватаю нитки, и шары послушно отрываются от потолка. Я начинаю прыгать в кровати, и шары прыгают со мной. И тут входит тётка Рива. Она полная, у неё блестящие глаза, по-моему, зелёные, она улыбается и несёт на тарелочке творог со сметаной, посыпанный

сахаром, и начинает меня кормить прямо в постели из ложечки. Я протестую, т. к. я уже не маленькая. И всё, после не помню.

А дальше, я помню, как мы едем на трамвае с тётёй Ривой на дачу, где оставались мама с папой. А трамвай совершенно особенный, и я долгое время считала, уже, будучи взрослой, что тот трамвай — это плод моей детской фантазии. Но однажды я рассказала папе об этой поездке, и об этом трамвае и он удивился, что я в таких подробностях помню всю эту поездку, подтвердил, что именно такие трамваи тогда ходили по Одессе. А трамвай этот вот какой — платформа с бортиками, наподобие оград в парках — чугунные, литые и с узорами. А на специальных столбах — крыша, — то ли полотняная, то ли ещё какая-то, но цветная, и весь трамвай напоминает цветную веранду, открытую со всех четырёх сторон. Ехать в таком трамвае очень приятно. И мы путешествовали по зелёному городу, стоял солнечный день и мне как-то очень весело и празднично. В руках тётя держала мой именинный торт, а я везла свой подарок от тётки — плюшевого мишку — моего будущего лучшего и единственного друга на многие годы, т. к. я пронесла сама, на своих руках этого мишку через всю эвакуацию — до Ташкента.

И потом помню заходящее солнце где-то за деревьями. Я знаю, что мы на даче, но гости уже ушли. Мы сидим в маленьком садике, в беседке. Там длинный дощатый стол, накрытый скатертью и скамейки вокруг, врытые в землю. На столе остатки торта, конфеты и чашки с чаем. Но все какие-то очень серьёзные. Папа сидит «с перевёрнутым лицом». Это мама всегда говорила так, когда папа оказывался, чем-то расстроен. Сидели папа, мама и тётя Рива. Мне показалось, что у них всех расстроенные лица. И разговаривают они слишком тихо. И помню я только одно — то, что мама сказала: «Я знаю, я чувствую — скоро будет война. У меня уже несколько дней так тяжело на сердце». И мне стало страшно. Не от того что грядёт война, а потому, что у мамы тяжело на сердце, а у папы «перевёрнутое лицо». И всё. И ещё помню, что мы все пока на даче, но вот-вот должны уехать, и вдруг я вижу, что по дорожке идёт тётя Рива. И глаза у неё не блестят, а какие-то потухшие, я бросилась к ней, видимо, я её давно не видела, я прыгнула ей на руки, а она как-то не радостно спустила меня с рук и пошла в дом. В руках она держала какие-то бумажки. Она несла повестки в военкомат. Так я узнала, что началась война. И потом я долго-долго ничего не помню.

Я только по рассказам знаю, что папу, мужа тётки Ривы и папиного двоюродного брата призвали в армию — на войну, что мы уже живём не на даче и не у тётки Ривы, а где-то на другой улице — в подвале. Оказывается, наш дом разбомбили. А случилось это так. Конечно я знаю это из рассказов мамы. Наша семья должна эвакуироваться из Одессы в первую очередь, потому что наши мужчины сражались на войне. У нас уже на руках билеты на пароход «Ленин». Но в последний день я

заболела. У меня поднялась температура сорок градусов, и мама сказала: «Мы никуда не поедem, я не знаю, придут ли сюда немцы или нет, а если я повезу больного ребёнка, я Нинку точно потеряю...». Мы распаковали чемоданы, и мама пошла за врачом. И я, почему-то, помню, что фамилия этого замечательного врача — Циклис. Доктор Циклис. Он пришёл, посмотрел на меня и сразу установил диагноз: «У девочки корь». Сколько я болела, не знаю. Но маме сообщили, что в пароход «Ленин» попала бомба — прямым попаданием. Никто не спасся. Потом, это я помню, мама входила в отряд П.В.О. и почти каждую ночь дежурила на крыше дома, потому что немцы бомбили Одессу зажигательными бомбами. Их надо сразу хватать и совать то ли в песок, то ли в воду или сбрасывать, как точно, я не помню. Мы тогда с тётёй шли в бомбоубежище. Стояла ночь, когда я вдруг во время тревоги не захотела идти в бомбоубежище. Это я помню сама. У меня болело ухо, я плакала и капризничала. Мама сказала: «Хорошо, не пойдём, только выйдем на улицу», и мы сели посреди улицы на чемодан, который мы всегда носили с собой в бомбоубежище. Вдруг что-то случилось, и сделалось ужасно страшно, поднялась стена дыма, пыли и жуткий грохот и, я думала, что мы сейчас умрём. А оказывается, это бомба попала в тот дом, куда мы ходили в бомбоубежище. И всё. На месте дома — гора мусора. Никого не сумели спасти. Мама сказала: «Значит, у тебя есть твой Ангел, он тебя второй раз спасает». А после мы переехали в подвал, хотя наш дом ещё не разбомбили, но мама сказала: «Здесь безопасней...», и я помню один из дней в этом подвале. У меня в этом доме жила подружка Люся, почему-то обритая наголо. Я часто у них бывала. Она жила на третьем этаже. Наш дом и два соседних стояли буквой «П». И посредине виднелся то ли большой двор, то ли большая площадка. Однажды я пришла к Люсе, а её мама выглянула в окно и предупредила: «Летят», — и мы слышали гул. Я уже его знала. И мы быстро-быстро побежали вниз во двор. И вдруг мы видим, что над этим двором летит самолёт — так низко, что видно пилота, смотрящего вниз. Он стрелял. Мы все упали на землю и на камни, а он пострелял и улетел. И я услышала страшный крик мамы, она бежала ко мне. Я встала и побежала к ней. А Люся лежит. Я вернулась и кричу: «Вставай, — они улетели», а она лежит. И я поняла, что что-то не то. И тут её мама, как закричит, — перевернула её на спину, а она так спокойно смотрит в небо. И всё, больше не помню. Но, как мы жили в том подвале, я немножко припоминаю. Мама уходила куда-то, — очень далеко — в очередь за водой. А мы с тётёй стояли на улице и нас уговаривали тут не стоять. А мы стояли, пока мама не возвращалась. И она рассказывала, как самолёты летали над очередью, как целились в них, как она шла и боялась, что нас уже разбомбили, и что надо любыми путями уходить. И вот, она однажды пришла и сказала: «Сегодня мы уезжаем».

А как мы уехали — это особая история. Я слышала её много раз. И я так себе ясно всё представляю, как будто видела своими глазами. Я всегда говорила с важным видом: «Я помню!». Я не знаю, так ли всё происходило, но мама рассказывала именно так. Моя мама очень редко сочиняла что-либо. В общем, из её рассказа дело было так. Немцы уже подлетели к городу, а вернее они находились на его окраине. Войска, защищавшие Одессу, отходили. Люди, бежавшие из близ лежащих хуторов, описывали страшные вещи: «Немцы вешают всех, у кого мужчины в красной армии и всех евреев». Из порта «Одесса» отходил последний — военный корабль, забиравший отступающие войска, и небольшое количество гражданского населения. Мама решила: «Больше ждать нельзя», и пошла в порт. Она рассказывала, что на пристани творилось что-то невообразимое, что она пришла в ужас. Она поняла, что обычным путём ей билетов не достать. Она вернулась домой, оделась, привела себя в порядок, даже накружилась и завилась. А мама вообще-то была очень-очень хорошенькой, и хорошей актрисой. Она вернулась в порт и пошла сразу к кораблю. Её не пускали, и вдруг кто-то сказал: «Вон идёт капитан». Мама увидела, что это красивый и ещё, довольно молодой мужчина. И мама сильно закричала и стала в обморок падать. К ней подбежали, но она всё равно упала и потеряла сознание, конечно понарошку. Капитан тоже подошёл и сказал: «Какая божественная женщина, несите её в помещение», и сам показал куда нести и он зашёл туда тоже. Он сам дал маме воды, и она со стоном пришла в себя. Дальше — дело техники. Они разговорились, и капитан сам выписал ей пропуск на корабль для трёх человек. Мама прибежала домой, и мы принялись быстро собираться. Взяли только самое необходимое. Самая большая сложность состояла в том, чтобы уговорить тётю ехать с нами. Она в своей жизни ещё никогда не выезжала из Одессы и очень боялась всяких поездок, а тут — военный корабль. Ехать в никуда, да ещё она плохо слышала и ей казалось, по её понятиям, что ей немало лет, а было ей тогда 52 года. Она сказала: «Я умру здесь и всё», но мама ответила: «Вы хотите, чтобы нас всех здесь повесили? И Ниночку тоже? А я ведь без Вас с места не сдвинусь!» И ей пришлось уступить. Она всё время плакала. И вот мы на корабле. К моему Великому сожалению, ничего не осталось в моей памяти, я даже не знаю, куда мы приплыли. Но где-то нас всех высадили. Мама говорила, что мы всё время сидели на палубе от того, что мама не хотела идти в трюм, т. к. она боялась вшей, тифа и других заразных болезней, и мы ночью сидели, тесно прижавшись друг к другу и укрывшись одеялами. Капитан несколько раз приглашал маму в каюту погреться, но мама всегда отказывалась, повторяя: «Или все, или никто». Я очень жалею, что я оказалась так нелюбопытна и невнимательна, что даже не поинтересовалась маршрутом, которым мы добрались до Ташкента. Я знаю только одно — мы всю зиму шли

пешком — из деревню в деревню. Ночевали и шли дальше, пока у нас не кончились все деньги. Тогда мама поняла, что нам пора остановиться. Я хорошо помню ту деревню, где мы остались довольно надолго. Дело шло к зиме. Так или иначе, нужно остановиться и переждать зиму.

Я помню то утро, когда я проснулась на полу, на матрасе из чего-то шуршащего и пахучего в светлой, совершенно пустой комнате, где лежали только початки кукурузы (тоже на полу), много, золотисто-коричневые, красивые, сухие, кое-где с высыпавшимися янтарными зёрнами. Мне они так понравились, я впервые видела сухие початки. В Одессе я часто ела варёную кукурузу и очень любила, там её называли пшёнка. А тут они твёрдые, как камушки. В Одессе камушки называли «кремушками», и мы в них играли. Игра так и называлась «Кремушки». Я собрала несколько зёрен и попробовала поиграть. Но нет! Зёрна оказались очень лёгкими и на вкус несъедобными. В комнате никого больше не было. Я вышла в другую комнату.

Там сидели двое детей и бабушка. Она их кормила. Мне показалось, что это девочки, т. к. их одели в платица. Но оказалось, что это мальчики совсем маленькие. Их кормили чем-то оранжевым — на вид очень красивым и вкусным. Увидев меня, бабушка и мне протянула ломоть того же. Я попробовала. Еда казалась ароматной, сладкой, мягкой и очень вкусной. Оказывается, это печёная тыква. Я по сей день люблю тыкву, но того удовольствия я от неё больше никогда не испытала. Конечно, я была голодна и, давно не видела сладкого, но и тыква оказалась видимо замечательная, да и ещё запечённая в печке. Позже — зимой, я часто ела тыкву, т. к. в деревне это являлось основным лакомством. Позже я пила томлёное молоко с коричневой толстой корочкой. Это так вкусно. Как жаль, что в нашей жизни нет печей, где можно всё это приготовить. А какой хлеб пекла в этой печке бабушка! Высоченный, мягкий, чёрный с кислинкой и с хрустящей корочкой! Я нарочно так подробно пишу обо всём этом — ведь это мои первые сознательные впечатления. И я это так хорошо помню, как будто это происходило вчера. Бабушка объяснила, что мама и тётя Рива с её дочерью пошли в «сельсовет» — устраивать маму на работу. Что такое «сельсовет» я не знала, но в моём воображении возникло что-то очень весёлое, праздничное, куда одеваются очень красиво, делают причёску и душатся духами. Я потом поняла, почему я так думала — потому, что мои мама и папа работали в театре. И слова «работа» в моём представлении — это театр. Я заплакала и сказала, что тоже хочу на работу. Бабушка засмеялась — так смешно — «Хи-хи-хи», — и выставила меня на улицу. Сказала: «Иди, погуляй». Я вышла. Видимо, ещё очень рано, потому что на земле и на траве почти сухой лежал иней. Он сверкал так замечательно, так красиво, и очень приятно пахло. Так хорошо пахло, что я забыла про работу, про маму и про всё на свете.

Этот аромат испускала трава. На ощупь она холодная и мокрая, а руки от неё стали так же хорошо пахнуть. Оказывается — это полынь. Её запах я люблю всю жизнь. Всегда, когда я слышу этот запах, мне вспоминается детство. К сожалению, в зрелые годы у меня от запаха полыни появилась аллергия. И всё, больше о том дне я ничего не помню. Из рассказов знаю, что маму взяли в совхоз на осень и зиму, а тётю нет. Мама очень хорошо работала — на картошке, на свёкле, потом на перелопачивании зерна и так далее. А тётя сидела со мной. Я плохо это помню. Потом мама простудилась и заболела воспалением лёгких. Видимо тёте пришлось туго, но я ничего этого не помню. У меня в памяти остались несколько эпизодов, — мы с тётёй Ривой пришли к маме в больницу, нас не впустили, а вынесли самый настоящий ночной горшочек. И мы понесли его домой, а в нём — повидло, горшок был почти полный. Оказывается, маме в больнице давали хлеб с повидлом на завтрак и на ужин. Она съедала хлеб, а в новый горшочек, ей его подарила нянечка, она счищала повидло и копила для нас. Болела мама долго, ведь лекарств там почти не давали. «Ей помог её организм», — так сказал врач. Мою маму всегда и везде любили. Она казалась всегда весёлой, никогда не жаловалась, не хныкала и нигде никого не обижала — ни словом, ни делом, и всегда всё делала хорошо, как волевая и сильная женщина. Это я и сама видела в последствие.

Второй эпизод — это, когда меня взяли в детский сад. Я помню крашенный пол, в избах пол — земляной. Помню запах борща, видимо очень вкусный запах, т. к. он вытеснил все другие впечатления детей и сам садик.

И ещё, как я «поймала ревуна». Пришло начало зимы. Меня послали за семечками — в избу напротив и наискосок. Я побежала и на самой середине дороги завязла в грязи. Грязь липкая, чёрная и чуть-чуть с ледяной корочкой, а я в ботиках и в пальтишке, не очень тёплом. И видимо стоял небольшой мороз. Я стою в грязи — ни туда — ни сюда. И мне всё холоднее и холоднее. Я совсем начала замерзать, а из окна избы меня не видно. И такой на меня напал ужас и такая тоска, что я как зареву — «благим матом». Тут какой-то старик проходил, услышал, вытащил меня и мои ботики и принёс домой. С тех пор и поговаривали: «Это, когда Нинка “ревуна поймала”». А потом настала весна, и мы оттуда уехали на подводе, который нам дали в колхозе. Маму пришли провожать многие: врач, председатель сельсовета и бригадирша, все маму целовали и предлагали остаться. Но мы уехали. А куда и как я не знаю. Знаю только, что мы прибыли в Ташкент. Мама с папой ещё, когда папу отправили на фронт, договорились — пробиваться любыми путями только в Ташкент. И вот мы приехали туда. Мне неизвестно, сколько папа воевал на фронте, но знаю, как он потом перебрался в Ташкент. Он участвовал в каком-то бою, где они просидели в болоте сутки зимой.

Когда пришёл приказ наступать, папа не сумел встать. Его скрутил радикулит. Он и до войны страдал от радикулита, иногда по месяцу лежал и не мог подняться даже в туалет. Его пришлось выносить с фронта на носилках в ближайший медсанбат, откуда его направили в ташкентский госпиталь. А в Ташкенте ему прислали “бронь”. Это распоряжение о том, что данный человек представляет для государства особую ценность и отправке на фронт не подлежит. Вот таким образом папа оказался в Ташкенте на несколько недель раньше нас. В Ташкент мы приехали на поезде.

Этот эпизод мне запомнился так ясно, я даже помню подробности папиной одежды, в которой он нас встретил. Папа вошёл в вагон, когда поезд остановился, он закричал: «Галя! Ниночка! Где вы?!» Народу толпилось в вагоне очень много, и уйма всяких вещей, и все галдели, что-то тащили, и папа, видимо, нас не видел. Я его не узнала. Он стоял в серой кепке, я никогда не видела его в кепке, потому что он до войны ходил всегда в шляпе. Когда, наконец, он пробрался к нам, и взял меня на руки, я вдруг узнала его и стала плакать, а мама и тётя стояли молча, смотрели и не двигались. Они тоже плакали. А после мы вышли на вокзал, толпилось очень много народу. А дальше я не помню.

Я начинаю помнить с того момента, как я выхожу во двор того дома, где мы жили. А там во дворе стоит мальчик и ест виноград, но я знала, что просить нельзя. А он сказал: «Что смотришь, вот, как дам!» и замахнулся. А я взяла и толкнула его, и он вдруг упал и заплакал, и принялся кричать, звать маму. Оказалось, он — сын нашей хозяйки, где папа снял угол, часть комнаты, огороженную шкафом и ширмой. А в остальной части проживала хозяйка с дочерью и сыном, и ещё там с ними жила какая-то бабка. В этот период папа редко находился дома, он много дирижировал оркестром в театре «Русской музыкальной драмы», и ещё в филармонии. А дома казалось ужасно. Хозяйка злющая, вдобавок воровка. Она крада у нас продукты и вещи, и мама с ней часто скандалила, а под “горячую руку” доставалось и мне. Эта улица называлась по-узбекски: «Тюрк янги сахар». Почему я помню это название — Бог весть! Нашу квартиру, где мы жили до войны, отдали беженцам из-за того, что прошло уже два года, думали, что немцы давно заняли Одессу, и, конечно же, мы погибли. Наши вещи и документы исчезли бесследно.

Только однажды к нам подошёл один молодой узбек и сказал: «Я вас помню, вы жили в нашем доме, и у меня ваши часы». Они были настольные и очень красивые. Он отдал их нам. Мама очень обрадовалась и сказала: «Это очень хорошая примета. Это значит, что в нашем доме по-прежнему всегда мир и любовь, и мы долго проживём вместе». Я не знаю, куда потом делись эти часы. Но мы действительно жили в мире и любви, несмотря на очень большие испытания, выпавшие

впоследствии нашей семье. Но потом нам дали так называемую “отдельную квартиру”. Это оказалась “балханà”. Что это такое? В Узбекистане на крышах почти всех домов хранили сено, сухие стебли от хлопка на растопку, лестницы и так далее. Крыша огораживалась с трёх сторон тоненькими стеночками в 3-5 сантиментов из досточек, обмазанных глиной. И сверху делалась лёгкая крыша. Туда вела очень крутая деревянная узенькая лестница с перилами. Во время войны в Ташкент приехало очень много эвакуированных и все балханы приспособили под жильё. Чуть утолстили стены — на 3-5 сантиметров — глиной, и чуть уплотнили крышу, разделили балхану на две части, комнаты и посредине оставили пространство метра три - четыре, как бы веранда, а в комнатах достроили четвёртую стену с крошечным окошком. Пол земляной. Вот и всё. Вот такую квартиру нам дали от театра. И всё равно это — счастье. Мы одни, без хозяев, без скандалов и без воров. Хотя воры всё-таки нашлись, но об этом потом.

На старой квартире (4)

Комната насчитывала двенадцать квадратных метров. Папа привёл мастера, и нам поставили печку, она дымила, плохо разгоралась, но всё-таки грела. Пока стояла осень, а она в Узбекистане тёплая, нам казалось не плохо. Во второй “комнате” поселились муж и жена, тоже из Одессы — милые, жизнерадостные, интеллигентные люди. Мои родители с ними очень подружились. И нас тогда в этой “квартире” жило трое — пока!

Потом, спустя пару месяцев, в Ташкент приехала папина двоюродная сестра. Она приехала одна. Её два сына и муж оставались на фронте. И самое интересное: они прошли всю войну на трёх разных фронтах, дошли до Берлина, а в Берлине участвовали все трое в одном и том же сражении и встретились только там. Их нетяжело ранило, но все трое вернулись с фронта живыми. Эта папина сестра, тётя Оля, по-еврейски её звали как-то иначе, но всё звали её тётя Оля, конечно, она жила с нами. А после, по-моему, в сорок третьем, вдруг, как снег на голову, явился Рудик, мой двоюродный брат, воспитанный папой. Я до этого момента, до появления брата ничего на этой квартире не помню. А этот эпизод вспоминаю так ярко, точно. Я даже помню все запахи и все свои ощущения в тот момент. Рано утром я услышала за дверью чей-то голос, молодой и, как будто, знакомый: «Скажите, а семья Хаэтов здесь живёт?» И голос соседки: «Здесь, а Вы что с фронта? «Да! Да!» — крикнул тот же голос, и дверь дёрнули, потом застучали, и затем тот же голос закричал: «Мадам Хаэт, Вам принесли свежую скумбрию с Привоза! Что Вы спите, она же протухнет!» Что тут началось: «Рудик!

Рудик! Рудик!» — закричали все разом. Папа, бедный, тыкался во все углы, не мог найти ключ, не попадал в замочную скважину, мама принялась вырывать у него ключ, тётя Рива вдруг зарыдала во весь голос, что-то бормоча по-еврейски, наконец дверь открыли, и в комнату ворвалось вместе с каким-то совершенно непонятным, невероятным сложным запахом что-то заросшее, красное, одетое в шинель, обмотанное бинтами, с какой-то котомкой и в сапогах. Это — Рудик! Но я его узнала, и вдруг начала мелко, неудержимо дрожать и всё сильнее и сильнее, я закричала: «Рудик, я! Рудик, я!» И он, наконец, меня услышал, взял на руки, и я тоже заплакала и засмеялась. Это так замечательно! Он — живой, совсем-совсем целый! Только руки были забинтованы. Его контузило, но мы узнали об этом позже. И тут тётя Оля стала рыдать! Она давно не получала писем от сыновей, и все сделались сразу серьёзными, и принялись её успокаивать. А потом мы сели завтракать. Действительно завтракать, т. к. Рудик привёз хлеб, тушёнку и даже для меня несколько конфет и сахар! Мы завтракали на веранде, пригласили соседей. Их звали Эсфирь Яковлевна (Эся) с мужем Германом (Герой). Общались так весело, что к нам поднялись соседи со двора, все расспрашивали Рудика, а он всё рассказывал и рассказывал. Но потом все отправились на работу, мы с тётей Ривой остались дома, а Рудик пошёл в баню. Он участвовал в Сталинградской битве, его обожгло и контузило, поэтому его полностью комиссовали. Лечился Рудик где-то на Урале, а потом поехал в Ташкент, через театр нашёл нас и стал с нами жить. Папа смеялся: «Это наш терем-теремок». И ведь верно: сначала мы, потом тётя, спустя некоторое время — Рудик. Квартира насчитывала двенадцать квадратных метров. Мы стелили на пол матрацы, соломенные, поверх кошму, её нам подарили в театре, а сверху уже стелили простыни и спали все вместе вповалку — ведь нас было шесть человек. А ещё там стояла печка, стол табуретки и этажерка, из стены торчали вбитые гвозди, где висела наша одежда. И всё это закрывалось занавеской из марли. А днём всю постель сворачивали и складывали у стенки. Днём возле неё меня укладывали спать. На веранде стоял большой стол — вернее сколоченные доски с ножками крест на крест, и скамеечки, тоже из досок. Всё это великолепие папе сделали в театре и сами привезли. На этой веранде я узнала прелесть застольных вечерних бесед, откровений, рассказов, театральных баек, анекдотов. Я рано начала понимать юмор. В доме всегда царил атмосфера подшучивания, даже, когда, казалось, голодно, холодно и плохо. Такова природа моих родителей. Мама говорила: «Слезам горю не поможешь, а мы живы, целы, все вместе, разве это не счастье? Война идёт к концу. Как же не радоваться?» И они радовались. К ним “на огонёк” приходили друзья. Сидели допоздна, потому что папа из театра возвращался поздно, часто с кем-то из друзей, и они сидели тихо, под нашим “оранжевым абажуром”.



А абажур у нас был вот какой. В театре нам дали остов — большой и очень хорошей формы. Я носила сарафан, сделанный из шёлкового головного платка. Когда-то, ещё в наших скитаниях мне подарила его одна старушка. Помню его когда-то то ли голубым, то ли серым. Но к тому времени, когда мне его подарили, он почти побелел. В Ташкенте мама покрасила его стрептоцидом, и он сделался ярко-оранжевым. Мама его сложила конвертиком и сделала из него круг, в середине вырезала дырку, получилась юбка-клёш, из обрезанных уголков сложился лиф, и получился совершенно замечательный сарафан. Когда он сделался мне мал, мама накрыла принесённый остов этим сарафаном, что-то где-то пришила, чем-то украсила, и получился такой абажур, что все, кто к нам приходил, восклицал: «Какая красота! Просто салон мадам Хаэт!» А жили мы в торце большого двора, и ворота во двор находились напротив нашей «квартиры». Всегда, когда я входила вечером в ворота, я смотрела, горел ли абажур, если да, значит все дома. Ну, а зимой конечно, не посидишь в нашей «комнате», тогда делалось плохо на нашей балхане. Не смотря на, в общем-то, тёплую зиму, стояли в Ташкенте холодные, снежные и морозные дни, а иногда и месяцы. Как раз, в тот первый год нашей там жизни, зима оказалась очень холодной. Наши «стенки» внутри к утру покрывались инеем, и, когда утром топили печку, со стен ползли ручьи. В квартире утрами так похолодало, что вылезать из-под одеяла казалось подвигом, а спать одетыми мама никому не разрешала. Она первая, чуть свет, вставала и топила эту печку. Когда делалось теплее, все вставали. Папе мама никогда не разрешала топить из-за того, что ему нужно беречь руки пианиста. Воду носили снизу, где постоянно в центре двора текла вода из крана, потому что она иначе просто замёрзла бы. И, конечно, вокруг крана намерзала такая глыба льда, что чтобы подойти к крану — нужно казалось, обладать определённой ловкостью и

сноровкой. Чаще всего ходил папа. Но иногда и мама. Позднее воду приносил и Рудик.

В этой квартире произошло одно событие, которое едва не кончилось трагически. Мама вечером протопила печку углём. После того, как всё прогорит, нужно задвинуть её заслонку в трубе, чтобы всё тепло сразу не ушло на улицу. Однажды мама протопила печку и, думая, что всё уже прогорело, слишком рано закрыла заслонку. Сейчас многие даже не знают, что если рано закрыть печь, из-за недостатка кислорода в печи от горения угля возникает “угарный газ” — CO₂, от которого поумирало очень много людей. Папа находился в театре, а мы — я, мама и тётя Рива, рано легли спать, т. к. очень сэкономили керосин, на котором горела наша лампа. Электричество нам провели намного позже. И вот оказывается, что случилось ночью. Мама проснулась из-за того, что ей очень плохо. А могла и не проснуться, что часто бывало в прошлом. И поняла сразу — угар! А встать не может. И шевельнуться не в силах. Но я уже рассказывала, она — очень волевая и сильная женщина. Она и сама не знала, как ей это удалось, но она думала одно: «Нинка!», когда она сантиметр за сантиметром ползла к двери, но как она её открыла ключом, она не помнила, осталось в памяти только, что когда пришёл домой папа, он нашёл её поперёк порога — голова на улице, а на голове огромный синяк и кровоподтёк. Дверь, естественно, настежь. Видно она головой открывала дверь и открыла. Свежий холодный воздух ворвался в комнату. Когда папа вошёл, нас рвало и мы лежали без памяти, но мама нас спасла.

Вначале мы голодали. Хлеб напоминал мыло, и покупали его так мало, что папа резал его на маленькие кусочки — кубики, и ели каждый кубик, как конфету. Папа варил из сахарной свёклы конфеты-пирожные. Её нам давали по карточкам вместо сахара. Папа наливал воду, туда мелко нарезал свёклу и варил долго-долго на печке. Потом, когда всё это выкипало, на дне оставалась густая сладкая масса, папа нарезал её на мелкие кусочки и немного подсушивал. Мне очень нравилось, только мама это есть не могла, она стала такой худой, ужас, и папа тоже. У нас долго хранилась фотография, где нас кто-то снял во время войны.



Я с папой, такие худые, что мои колени казались огромными. Я сдуру потом, уже будучи взрослой, взяла и порвала эту фотографию. Очень об этом жалею. Потом папе дали литерный паёк, нам стало чуть-чуть легче. Но тут наши соседи нам предложили участвовать в одном деле. А дело это, вот, какое — крутить папиросы. И вот вся наша семья — тётя Рива, я, мама и папа, вместе с тётей Эсей и дядей Герой принялись ночами делать папиросы. Технологии производства их кто-то научил. Они сами сворачивали трубочки из папиросной бумаги, сами готовили мундштуки из более плотной, набивали табаком, складывали в коробки и сдавали какому-то человеку, который появлялся раз в неделю и платил за это деньги. Табак, бумагу папиросную и более толстую мы доставали сами. Занималась этим моя мама. Чем больше я всё это сейчас вспоминаю, тем больше понимаю, каким незаурядным и интересным она была человеком. И пока она не умерла, я это мало осознавала. Мне казалась она суровой и неласковой, а безумно я любила папу. Подробно об этом я напишу позже. А сейчас мне хочется рассказать о том, как же именно она доставала эту бумагу и табак.

В Ташкенте существовал огромный овраг, заросший кустарником, травой, замусоренный и очень страшный, потому что там собирались все, как теперь говорят бомжи, преступники и всякий человеческий мусор. И находился этот овраг далеко на окраине. Туда не ходил транспорт, не появлялась милиция и порядочная публика. И там же сосредоточился “несанкционированный” рынок, где можно оказалось купить всё, но только ближе к вечеру. И вот туда ходила моя мама одна. Она не разрешала никому её сопровождать. Да и некому было. Папа

работал по вечерам в театре. Тётя Рива, я или тётя Оля? А мама — актриса, с большой буквы. Она для этого припрятала специальное одеяние, грим. Она наряжалась этакой “дамой со дна”, к тому же она курила, этак лихо, и шла в овраг. Там уже она приобрела “корешей-приятелей”, она им давал прикурить, иногда приносила им чего-нибудь покрепче, выпивали по маленькой, и её никогда и никто ни разу не тронул. Её там уже знали, она покупала у них, что ей надо и уходила. Отойдя на приличное расстояние, зайдя куда-либо в тень, а света в Ташкенте тогда и вообще почти нигде не горело, она всё снимала, оставалась в приличном виде, стирала с лица весь камуфляж и спокойно шла домой. Эти ночные бдения за работой я помню. Я часто сидела и смотрела, как ловко у них всё получалось, а в это время они разговаривали, смеялись, обсуждали события на фронтах. И часто в это время наша тётя Оля вдруг бросала работу и начинала петь. Репертуар у неё, надо понимать, сомнительный, но она пела хорошо. Все слушали с удовольствием. А пела она, например, “Маруся отравилась” или “Пой, ласточка, пой, сердцу дай покой”.

Наверно уже никто сейчас не помнит этих песен. А в войну их пели все. А потом, вдруг, без перехода, тётя Оля начинала плакать, раскачиваться и причитать: «О, вейзмир, вейзмир! Где же они мои мотеки, где мои сыночки, где они? А где же мой дорогой, мой ненаглядный Сашенька!» Никто не успокаивал её, мама говорила: «Дайте женщине выплакаться, ей станет легче». А потом тётя Оля вдруг снова начинала петь и садилась работать. Я часто долго не спала, смотрела на них через открытую дверь и ждала папу. И всегда засыпала, не дождавшись. Это удивительное время. Я понимала, что ничего хорошего в этом нет, но почему-то мне становилось так хорошо, засыпая слушать их тихий разговор, ждать папу и думать о том, что утром папа обязательно будет дома. С тех пор, как мои родители принялись работать в артели, нам стало легче жить. Появилась картошка, иногда с селёдкой, иногда очень вкусная, по моим тем представлениям, “патока”. Это какие-то отходы от производства сахара. Патока была густая, тягучая красно-коричневая и чуть пахла керосином, такая сладкая!

Ну, а потом маму мобилизовали на завод, она стала там работать в отделе кадров и получала “рабочие”, а не “иждивенческие” карточки. Тогда вот и приехал Рудик. Он тоже пошёл работать в симфонический оркестр и в филармонию, на завод устроилась работать и тётя Оля, я — в детсад, и наша артель кончилась. Но жить сделалось легче.

Я помню многое из той жизни, в детском саду мне сначала не понравилось, а потом мне сделалось очень скучно и я, однажды, взяла и ушла оттуда. Начался страшный переполох, меня, оказывается, везде искали, маму вызвали с завода, а я спокойненько сидела у себя под лестницей. Там в тёплом и укромном уголке я играла со своей маленькой

куколкой. Я помню своих подружек, разговоры наши, игры, даже имена. Помню свои игрушки. Но самое главное, я помню, как мы жили все эти годы — в смысле материальном.

И однажды, я прихожу из детского сада, а на столе у нас на веранде стоит... мебель! Да-да! Детская игрушечная мебель! Диванчик, столик, четыре стульчика, кресло-качалка и шкаф! А в кресле-качалке качается маленький, замечательный слоник! Я не могла поверить, что это для меня. Я молча уставилась на это чудо, боясь дотронуться до этого великолепия! И мама стоит, смотрит на меня и лицо её дрожит!

«Мама! Это кому?!» — «Ну..., наверно, тёте Оле», — сказала мама. Я засмеялась и кинулась целовать маму. Мама купила это у какой-то своей сослуживицы. Та принесла на работу, чтобы продать, и мама взяла, как я понимаю, из последних денег. А ведь игрушек тогда вообще не продавали, и у нас денег на них не нашлось бы. Я играла со стареньким плюшевым мишкой, которого я пронесла на руках через всю эвакуацию. Я его очень любила, но это! Это, как сон. Впоследствии мне ещё однажды мама с папой подарили куклу с закрывающимися глазами. Но счастье моё оказалось недолгим. Не помню, как это случилось, но куклу я разбила, у неё оказалась хрупкая фарфоровая голова и тряпичное платьице. Я страшно испугалась, сначала плакала, а после спряталась под лестницей и боялась идти домой. Я видела, что меня ищут, но не выходила. В конце концов, конечно, пришлось выйти. Я пошла домой и сразу с порога сказала: «Я разбила куклу». А дело в том, что я очень боялась маму. Мама относилась ко мне очень строго. Теперь я понимаю, что происходило с ней. Шла война, холод, голод, мы жили очень скудно, они с папой нигде не могли побыть наедине, нуждались в одежде, не имели возможности нигде, как следует, помыться. И мама, как говорил папа, “стала опускаться”. До войны мама выглядела, по словам многих, “шикарной женщиной”, а тут ей вдруг стало это всё безразлично. Слишком многое свалилось на её плечи. А папа каждый вечер выходил к людям, дирижировал оркестром, встречался со многими людьми, иногда очень известными, ведь в войну в Ташкенте жил весь цвет России — художники, поэты, музыканты, актёры. И хочешь, не хочешь, ему приходилось держаться. И вот, в папу влюбилась молодая прелестная девушка — певица. Сначала папа сопротивлялся. Ведь он очень любил нас — маму и меня. Но в конце-концов, они стали близки. И маме начали приходить анонимные письма такого типа: «Проследите за Вашим мужем, Вы многое узнаете» и т. д. Мама всегда очень гордо не реагировала, она выбрасывала эти письма, а папе и вида не подавала. Ведь всё это должно где-то находить выход. А я попадала “под горячую руку”. Мне часто влетало от мамы. Иногда очень больно — ремнём, или рукой, но рука у неё тогда делалась очень тяжёлой. Тётя Рива пыталась за меня заступиться, она называла маму “извергом”, и тогда разгорался

страшный скандал. При этом я кричала, плакала, что всё расскажу папе, но никогда не рассказывала. О том, что часто мама била меня в детстве папа узнал, когда я однажды рассказала ему об этом, будучи уже взрослой. Он сидел совершенно ошеломлённым, не мог в это поверить. Я потом пожалела о том, что всё-таки рассказала. Я думала, папа посмеётся со мной, но на него это произвело тяжёлое впечатление.

Люди прибежали и на “минутку”, и на “вечерок”... (5)

Насколько часто мне попадало, я не могу сказать, но видимо, оставляло каждый раз глубокий след в моей душе. Конечно, я давно простила это моей маме, и даже поняла её, и многим я сейчас восхищаюсь в ней, но это проложило глубокую трещину в наших отношениях, и я уже не могла любить маму так, как она этого заслуживала, и у нас с ней не сложилось доверительных отношений. А роман папы длился долго — до 1947 года. Другое дело папа. Возможно, он не отличался таким твёрдым характером, часто терялся в сложных ситуациях, иногда казался немного шумным, но он такой добрый, он так глубоко мог всё понять. Это не значит обязательно простить. Но он никогда не наказывал меня, но всегда находил время и слова, чтобы до конца во всём разобраться, и всё его наказание заключалось в осуждении моего поступка. А это, казалось, для меня страшнее всего. Мне всегда хотелось быть в глазах папы самой добросовестной девочкой на свете, чтобы папа не разочаровался во мне. Это я ощущала с самого раннего детства, сколько я себя помню. Например, вот один случай из очень многих. Мне тогда исполнилось уже лет девять. Во дворе у нас жила семья, которую все дружно презирали. Это семья состояла из женщины, очень некрасивой, худой и, видимо, больной, у неё росло трое детей от неизвестных мужчин. Они страшно бедно жили в одной комнате, без прихожей, без кухни, висел только навес над входной дверью. Единственное окно смотрело во двор сантиметров в пятидесяти от земли. Чем занималась эта Ира, я не знаю. Конечно, по отчеству её никто не звал, хотя была она уже немолода. В квартире стояла ужасная грязь, страшный запах ужасной бедности и мочи.

Старшая дочь Иры, моя ровесница — зажатая, туповатая, и вместе с тем нагловатая девочка. Никто из детей во дворе с ней не играл, все мамы запрещали с этими детьми играть, т. к. они «из плохой семьи и могут заразить чем угодно».

Однажды их никого не оказалось дома, они оставили открытой форточку. А мы, дети занимались расчисткой середины двора под

площадку для игр. Мусора получилось много. Кто-то из мальчишек, хихикая, сказал: «Давайте бросим мусор Ире в окно». Ну что же! Хорошее дело, так ей и надо грязной оборванке! Собрали мусор в ведро и выкинули понемногу всё в форточку. Мне же этого показалось мало. Я схватила наше мусорное ведро и тоже высыпала ей в окно. Очень довольные, не мучимые никакими угрызениями, мы поиграли во дворе и пошли по домам.

Вечером очень скоро наступило возмездие, Ира постучалась к нам в дверь и, на мою беду, а сейчас я думаю, что на моё счастье, папа оказался дома. Ира сказала папе: «Пойдёмте, я покажу Вам, что сделала ваша дочь!». Папа удивился, посмотрел на меня очень пытливо и сказал: «Может ты сама скажешь — что ты сделала?» Я заплакала и сказала: «Это не я, это Лёвка и Витька, и Наташка, и другие». Ира перебила: «Соседи видели только тебя. Но это неважно. Эти дети очень злые, и родители их очень злые, но у тебя такие родители. Как же ты могла их так опозорить?!»

Папа взял меня за руку и мы пошли к Ире. Когда мы вошли, а я впервые оказалась у них в доме, меня поразила нищета и запах. Мы же уже тогда жили хорошо, в хорошей квартире втроём.

Я заткнула нос. Но папа резко дёрнул мою руку и сказал: «Стыдись, судьба могла бы и тебе уготовить такую жизнь». Но то, что мы увидели в следующий момент, заставило меня расплакаться. Под окном находился стол. На столе, под самой форточкой стояла корзиночка с маленьким ребёнком, который спал. А рядом лежала какая-то еда, хлеб и что-то ещё, и всё это — и ребёнок, и хлеб, и весь стол засыпано мусором, с самого верха которого возвышался мой мусор, мои бумажки с рисунками, лоскутки от платья, которое мне накануне шила мама, картофельная шелуха и всякая ещё дрянь. “Улики” на лицо. Но засыпанный помоями ребёнок — это, казалось, уже слишком. Папа сказал: «Всё ясно, Ира. Я Вам обещаю, больше никогда, слышите, никогда моя дочь не совершит ничего, за что потом ей будет стыдно». И мы ушли.

Мы вернулись домой, папа посадил меня на диван, сам сел напротив и сказал:

«Я хочу рассказать тебе сказку». И он рассказал мне ужасную историю о несчастной матери, о несчастных детях, о всех страшных приключениях, которые происходили с ними, и об ужасной девочке, которая вместе со злыми волшебниками преследовала этих бедных людей.

А окончилась сказка тем, что оказывается, эту девочку просто заколдовали злые волшебники, на самом деле она очень добрая. И однажды, когда несчастная мать плакала над своим погибшим ребёнком, слёзы её брызнули на лицо этой девочки, и злые чары рассеялись,

девочка поняла, какой ужасной она была. И тогда, она позвала этих детей к себе в гости, подарила им свои лучшие платья, угостила их самым вкусным, что хранилось в доме, и оказалось, что эти дети такие красивые, и такие добрые, и они стали друзьями. А со злыми волшебниками девочка больше никогда не встречалась.

Вот такая сказка. И я понимала и не понимала, что это — сказка про меня, но я сидела замороженная и слушала, затаив дыхание. Потом папа спросил: «Ты поняла». Я сказала: «Да!» На этом бы история могла и закончиться, но не тут-то было. Папа всё доводил до конца. Он сказал: «Ну что ж, теперь я хочу знать, когда ж спадут злые чары с моей дочери?»

Я очнулась, я не знала, что делать. И тут нанесён жестокий удар. — «Мама сшила тебе ко дню рождения очень красивое платье. Свете (это дочке Иры) оно окажется впору, и оно ей очень пойдёт. Так, что на твой день рождения ей будет, в чём идти». Я сначала не поняла, потом поняла, что я должна пригласить Свету себе на день рождения. И только после до меня дошло и про платье. И всё-таки я это сделала. Правда, все мои гости тут же ушли, едва в комнату зашла Света в моём новом платье, которое действительно ей очень шло. Но это неважно. Моя лучшая подруга с другого двора, Лана, не ушла, и ещё мы позвали маленького братишку Светы, папа играл нам на пианино, мы танцевали, скакали, весело ели торт и конфеты.

Во многих и других случаях папа приводил меня в чувство. Он никогда не кричал, не наказывал, но смотрел на меня своими удивительными, чистыми синими глазами и говорил: «Неужели ты сделала это? Я в тебе разочарован». И это становилось таким наказанием, хуже которого не придумаешь. Но это всё отступление. Я хочу рассказать всё-таки о том кризисе, что назрел в нашей семье в годы войны, ещё в той “квартире”, на балхане.

К тому времени, тётя Оля уже уехала от нас, т. к. её муж её разыскал (его комиссовали по ранению) и он её увёз в Одессу, разрушенную, сожжённую, но родную, где они родились и выросли, и где убиты, повешены и расстреляны все их родные и близкие.

Рудик часто исчезал из дома, потому что у него оказалась куча барышень, и он часто оставался у них ночевать. А мы, в основном, оставались по вечерам с тётей Ривой и мамой.

Я к тому времени уже училась в школе, и мама каждый вечер садилась со мной за уроки. А я оказалась очень рассеянной, кроме того, я боялась маму, и конечно, я не могла сосредоточиться. И за каждую ошибку, за каждую кляксу мама била меня линейкой по рукам. Я переписывала домашние задания по несколько раз. Тетради стоили очень дорого, и покупали их не пачками, а листами с рук на базаре. Это тоже выводило маму из себя. И я её, всё-таки, сейчас понимаю. А тогда...

Тогда мне, казалось, так трудно её понять. Я боялась её взгляда, как кролик удава.

Это очень тяжёлые воспоминания, но и, пожалуй, самые тяжёлые из моего детства, т. к. вообще-то в семье меня очень любили, уделяли мне по возможности много внимания.

Когда я впервые пошла в школу, мне не купили портфеля. Мама с папой смастерили мне ранец из большой красной папки. Мне этот ранец очень нравился. А я была такая маленькая и худенькая, что этот ранец закрывал всю мою спину.

Я помню, что, когда я болела, мама или папа сидели возле меня, читали мне книжки, рассказывали сказки, слушали мои рассуждения, и никогда не смеялись надо мной. Вообще-то, я никогда не знала за что мама может рассердиться, а за что нет.

Однажды мои друзья взяли меня с собой на дачу. Я там порвала, а потом сильно запачкала краской моё самое лучшее платье, я так боялась идти домой, что час просидела под лестницей. А мама совсем не рассердилась, а посмеялась: «Ничего, ты всё равно из него выросла». И так бывало часто. А из-за пустяков мне влетало сильно.

В сорок седьмом году нам дали, наконец, “новую квартиру”. Квартира эта оказалась, конечно, не новая. Дом старый, около ста лет, он считался аварийным. Это усадьба бывшего царского начальника жандармерии, очень добротная, двухэтажная. На каждом этаже по пять комнат. Во время становления советской власти в Узбекистане начальник жандармерии бежал. Власти разделили дом на шесть квартир и отдали жителям Ташкента. В сорок седьмом году одну из квартир освободили. И мы получили на неё ордер, с условием, что мы должны приделать к своей стене подпорки, что нам впоследствии и пришлось сделать. Квартира состояла из двух комнат и маленькой прихожей, а вернее тамбура между входной дверью и внутренней, без кухни. В первой комнате стояла печь, встроенный стенной шкаф и ниша по местному обычаю, куда узбеки обычно складывают одеяла, матрасы и подушки — только новые. Чем их больше, тем, значит, богаче хозяева.

И вот с переездом на эту квартиру, я пережила страшный стресс, почти шок.

О том, что родители получили квартиру, я ничего не знала, я была слишком мала, чтобы посвящать меня в эти заботы.

Однажды, я прихожу, как обычно, из школы, а учились мы тогда в две смены, а возвращалась я уже под вечер. Стояла зима, темнело рано, на улице холодно, неуютно, сыро. Я пришла, замёрзшая, и уже радовалась, что я, наконец, дома, поднимаюсь по нашей крутой, обледенелой лестнице, подхожу к двери, открываю её и... О ужас! Комната абсолютно пуста! Но не просто пуста, ни единой бумажки, ни единой тряпочки нигде не видно! Передать всё, что я почувствовала

невозможно! Я даже не смогла заплакать, таким отчаянием наполнилось всё моё существо. «Меня бросили родители!!!» — единственная мысль, которая пришла ко мне в голову. Это казалось так страшно, что я даже не сразу решила уйти оттуда. В замороженной насквозь комнате я села на портфель и принялась ждать. Замёрзнув окончательно, я спустилась вниз и постучалась к нашему дворнику. Открыла мне его жена: «А ты что, разве не знаешь, они переехали». — «А я?!» ответила я шёпотом, потому что у меня перехватило горло. — «Не знаю», — сказала дворничиха. Тут мне пришла спасительная мысль — пойти к своей подруге, а там её мама чего-нибудь придумает. Подруга жила недалеко. И я пошла.

Ну что говорить, конечно, папа почти следом зашёл, и именно, к ним. Объяснил мне, что просто не успел к моему приходу и забрал меня в нашу новую квартиру. Я долго помнила этот ужас, и часто думала о том, что есть беспризорные дети, у которых нет родителей, нет дома, они где-то спят, где-то едят — сами. Эти воспоминания навсегда оставили во мне ужас бездомности, одиночества.

Уже гораздо в более позднем возрасте, мне исполнилось тогда лет пятнадцать, я училась в техникуме, я ещё раз пережила это страшное чувство, хотя оснований к этому особых не предвидилось. Я позже расскажу об этом.

А тогда мы вместе с папой пошли в нашу новую квартиру. Эта квартира меня так поразила, что она показалась мне дворцом — после нашей халабушки. Во-первых: в ней высоченные потолки — три с половиной метра, огромные окна, — между второй и первой комнатой находились двери, складывающиеся гармошкой, так что можно их сделать любой ширины. Когда нужно — можно раздвинуть, и получалась как бы арка, вместо дверей.

Деревянный и крашенный пол, веранда, прихожая и, вообще, так хорошо, что я не верила, что это всё наше: «И мы здесь будем жить только втроём?» — я заговорила шёпотом. Мама с папой за время моего отсутствия уже успели, кое-как навести уют, сделать какие-то постели, поставили стол! Они затопили печку. Если бы кто-нибудь сейчас знал, какое счастье прийти в квартиру, которая твоя, — в тёплую, нормальную, красивую. Впоследствии мои родители её обставили недорогой, но приличной мебелью, повесили ковры, картинки, купили пианино и всякий, кто приходил, говорил: «Ну, как же у вас уютно, просто не хочется уходить». И действительно, у нас в доме всегда собиралось много людей. Люди прибегали и на “минутку”, и на “вечерок”, и часто жили по несколько дней. Мои родители очень любили людей, и люди любили их. Родители никогда не ныли, не хныкали, не жаловались на судьбу, не пересказывали другим людям свои обиды и ссоры. Разговоры всегда делались интересными. А, если спорили, то никогда не

кричали, не размахивали руками, просто доказывали своё — логикой или просто словами. Папа вообще считался “ходячей энциклопедией”. Он знал так много, что все только удивлялись: «Откуда?»

Когда и где он это узнавал — одному Богу известно. В последствие я немного приоткрыла эту тайну. Он был страшно любознателен и очень мало спал. Когда я училась в старших классах, папа брал любой из моих учебников, и в минуты отдыха, обычно ночью, садился за стол, открывал учебник и, с самой первой страницы, начинал читать. Жадно, внимательно, как читают роман. Он мог так читать часами. Я всегда спрашивала: «Папа, неужели тебе интересно?!» Он с жаром отвечал: «Очень! Ты даже не представляешь, как это интересно! Подумать только, оказывается...» А это мог быть учебник физики, или химии, или ботаники. Его интересовало всё. А утром ведь репетиция, день заполнен до отказа, опять придут люди, вечером начнётся спектакль, и ведь ещё нужно писать музыку! Писал он тоже только ночью, когда мы уже спали. Мог просидеть до утра. Придёт с репетиции, пообедает и приляжет — на пятнадцать минут. Уснёт! А потом — всхрапнёт, проснётся и скажет: «Ох, как хорошо я поспал!» И опять за дела.

Но это уже всё на новой квартире. А в старой нашей халупке со мной ещё многое, что происходило. Во-первых, там я в сорок четвёртом году пошла в школу. В первый день меня отвела мама, школа располагалась не так уж и близко, но уже на второй день я пошла сама. В школе мне не понравилось. Я там никого не знала, учительница мне показалась некрасивой и недоброй. В последствие так и оказалось — ко мне она относилась очень несправедливо. В нашем классе учились девочки достаточно обеспеченные, которые часто приглашали её к себе в гости. Я об этом узнала много позже. Дарили ей подарки, и к ним она была добра и снисходительна. От меня она ждала того же, т. к. знала, что мой отец — композитор, и думала, что у нас дома “горы золотые”. То, что мы вообще еле сводим концы с концами, она в это, наверно, даже и поверила бы. Кроме того, я была еврейкой. Хотя я не особенно это чувствовала, или не понимала, т. к. в открытую этого не говорилось, но какое-то особое отношение ко мне, какую-то отдалённость я чувствовала. А может, это объяснялось и моим характером — я не знаю. Я помню, она всегда высмеивала меня перед всем классом за то, что я часто перемазывалась чернилами, тогда ведь не существовало шариковых ручек, за то, что у меня часто расплетались косички, а у меня очень мягкие и тонкие волосы и ленточки в них не держались. Но училась я стараниями мамы неплохо.

И на той же старой квартире я прочитала сама свою первую книжку. Это — отрывок из «Отверженных» — Виктора Гюго. Этот отрывок, опубликованный отдельной маленькой книжкой — с картинками и крупными буквами, назывался «Козетта». Впечатление от

этой книги оказалось таким, что чтение с тех пор стало моим самым любимым, самым желанным, всё затмевавшим занятием на свете. Я взяла эту книжку в школьной библиотеке. И сначала я принялась читать её на ходу, после села на каком-то крыльчке и читала её до самого вечера, из-за того, что ещё я читала тогда очень медленно. Когда, я её прочла, я рыдала так, что останавливались прохожие. К этому времени папа и мама находились уже дома и очень встревожились, что меня нет. Я пришла бледная, заплаканная.

Родители решили, что меня кто-то побил. Потом, узнав в чём дело, папа посадил меня на колени и просил рассказать, что именно меня так взволновало, он рассказал мне, кто такой Жан Вольжан, что с ним случилось и, что произошло с Козеттой. Он сказал, что всё это написано в замечательной книжке знаменитого Виктора Гюго. Эту книгу мне удалось прочесть только в тринадцать лет — мне дали почитать её всего на несколько дней, а книга оказалась толстой. Когда я несла её домой, я вся дрожала, я находилась в таком состоянии, как перед каким-то великим событием. Я, конечно, прочла её и не разочаровалась.

Где-то в шестидесятых годах сняли фильм с Жаном Габеном. Но, хотя это считался очень хороший фильм, впечатление от него несравненно слабее. Прочитанные книги я всегда потом обсуждала с папой. Не встречалось книги, которую он бы не читал, или не помнил. Мне казалось, что он читал всё на свете. Конечно, тогда в Советском Союзе переводной литературы продавалось очень мало, и конечно, все читающие люди действительно прочитывали всё, что тогда печаталось. Но мне это казалось чудом, а советской литературы папа почти не касался. Я, конечно, ею зачитывалась. Я читала тогда все печатающиеся детские героические, воспитательные и патриотические книги. И мне они очень нравились. И может быть, они всё-таки, нужны.

В этих книгах всегда существовал “герой”, которому хотелось подражать. Им можно восхищаться, любить его, думать о том — могла бы я поступить также как он в трудной, экстремальной ситуации. Я сейчас думаю, что та детская, я подчёркиваю, именно детская литература обладала очень высоким качеством и воспитывала в нас морально и душевно. Я не знаю, есть ли сейчас хорошая детская литература, моему, только то, что написано раньше. А сейчас дети учатся жизни не на хороших книгах, а по телесериалам, где убийства, насилия и зверства. Где уж детскому уму понять, что хорошо, а что плохо.

Но, я ушла от того, о чём мне хотелось бы рассказать — о себе, о своих родителях и о своей жизни.

С детьми композитора Ашрафи (6)

Ну, в общем мне жилось достаточно некомфортно, и если бы не дружба с детьми композитора Ашрафи, мне стало бы совсем грустно.

С детьми Ашрафи меня познакомил папа. Они проживали в соседнем доме. О них и о самом композиторе нужно рассказывать отдельно.

Дело в том, что в Узбекистане ещё не существовало своих больших композиторов, художников и т. д.. И, конечно, по тем законам политики (т. е. при Сталине), они должны появиться. И их быстро сделали.

Например, Ашрафи. Он оказался довольно способным студентом музыкального училища, как выходец из кишлака, узбекской деревни. Он неплохо играл на дутаре — узбекский национальный инструмент, типа нашей мандолины и оказался активным комсомольцем, очень пробивным. Он страстно хотел подняться наверх. И его принялись “раскручивать”. Его познакомил с одним из репрессированных и впоследствии сосланных в Ташкент, ленинградским композитором — Василенко, очень талантливым, и несмотря на молодость, уже тогда, становившимся известным в России (до репрессии).

Василенко в Ташкенте жил нищенски, т. к. не имел права работать. Жил тем, что давал уроки музыки детям тех русских, что оказались там до войны. Их насчитывалось мало и платили они плохо. А в войну и совсем сделалось невмоготу. Всё это я, конечно, знаю от папы. Он рассказывал, что Василенко ходил в галошах на босу ногу, подвязанных верёвочкой.

Вот и предложили Ашрафи, вместе!!! с Василенко написать симфонию, или что-то такое же грандиозное.

Ашрафи ещё тогда и нот-то толком не знал, играл на дутаре и понятия не имел о гармонии.

Ну, “они”! написали. И посвятили её Сталину. Это произошло во время войны. Автором оказался, как не трудно понять, Ашрафи. Так началась карьера “великого” композитора, профессора, дирижёра, впоследствии директора “Академического театра оперы и балета имени Алишера Навои”, директора консерватории, ныне имени Ашрафи, и т. д. и т. п..

Конечно, в последствие он окончил консерваторию по классу “композиция и фортепьяно”. Дирижировал он неплохо. Список же композиторов, работавших на него расширялся. Но в основном это оставался Василенко. Нужно отдать должное Ашрафи — оплачивал он щедро, дружил с ним и всюду представлял. В 1956 году Василенко реабилитировали. Но Василенко не уехал. Куда бы он уже уехал и зачем?

У него появилось всё. Однако на Василенко Ашрафи и погорел, но после выкупился. Но это уже другая история.

А тогда Ашрафи ещё молодой, но уже богатый, потому что за симфонию он получил Сталинскую премию, которую отдал на “нужды армии”. Сталин прислал ему благодарственную телеграмму и распоряжение властям города о немедленном обеспечении Ашрафи “достойным” жильём в дар от И. В. Сталина.

Дар от Сталина. Что же это должно быть? И немедленно выселили из великолепного старинного особняка детский сад, там находившийся. Дом имел девять комнат, зал, огромную кухню, ванную, водопровод, огромной ширины коридор, большой сад, камин в каждой комнате, паркетные полы. Всё немедленно отремонтировали. Это, по тем временам, особенно газ, ванная с газовой колонкой, смывным туалетом — во время войны казалось не только неслыханной роскошью, но совершенной диковиной. Немедленно свезли туда мебель. Отовсюду: из театра стулья, из музеев люстры, из филармонии два рояля и пианино, диваны, кровати, ковры и т. д. Всё смотрелось роскошно и уютно. Очень просторно, светло, а зимой холодно, т. к. камины топить оказалось трудно и некому. Топили только в спальне и в кабинете Ашрафи. Всё это описывать было бы неинтересно, но это касалось меня, потому что я провела в этом доме пять лет, т. к. очень подружилась с его детьми — Марой и Фирузом. Мара моя ровесница, а Фируз на год моложе. А мне было тогда чуть больше пяти лет, дети оказались очень хорошими. Мы как-то сразу подружились, у нас нашлось много общего. Поверьте, в пять лет тоже есть свои привычки, вкусы, интерес. Нам было очень хорошо вместе. Я выдумщица и заводила, они активными исполнителями, мы играли азартно и весело. Ведь не у всех детей войны прошло так счастливо детство, как у них. У многих детей того времени только одно на уме: «что бы поесть?» Не буду врать, мне тоже хотелось кушать, а часто нечего. Но у них о еде я и не вспоминала. Там так весело играть в прятки, в театр, в разбойников и в пещеры, устраивать представления в костюмах! А вечером, мы, дети садились у камина и рассказывали друг другу страшные сказки у отца (Ашрафи) в кабинете, он вечерами всегда уходил из дома. С нами садился ещё племянник Ашрафи, мальчик, взятый им из кишлака, лет тринадцати. Пламя камина — единственное освещение огромного кабинета, углы оставались тёмными и пугающими. Мы сидели в больших креслах — я вдвоём на одном кресле с Фирузом, Мара в другом, а Алим (племянник) — на скамеечке у самого огня. Он следил за огнём. Пламя играло бликами на наших лицах. Тепло, уютно, страшновато и сладко. Немного тянуло в дремоту, но я старалась стряхнуть это с себя, т. к. это — самые счастливые минуты в течение всего дня.

Потом приходила мама — простая узбечка, противным, или, мне так казалось, голосом на узбекском, отправляла всех спать, а меня домой. Я бежала домой, и мне казалось, что где-то тут прячутся чудовища из сказок, а луна смотрит на меня с неба неодобрительно. И это тоже мои любимые минуты. Я прибежала домой. Мама что-то делала у керосиновой лампы, тётя спала, папа не пришёл ещё с работы. Становилось скучно, но всё-таки хорошо, я очень любила свой дом и своих родных.

Ну, а насчёт еды. Они часто угощали меня чем-нибудь замечательным. Вначале я очень стойко отказывалась. Но я теперь понимаю, что когда человек голоден от того, что он беден и у него нет еды, он всегда отказывается от угощения, потому что этим сохраняет своё достоинство. А когда у него всё есть, и он голоден только сию минуту, он с удовольствием угощение принимает.

Это произошло и со мной. Первое время я ни за что у них ничего не ела. Но потом, когда папа зарабатывал лучше, и еды мне хватало, я с удовольствием у них кушала.

Но однажды, ещё в первый год, я не смогла удержаться и приняла приглашение с ними позавтракать. О! Что это за завтрак! Мне и до сих пор кажется, что я ничего и никогда вкуснее до сих пор не ела! А дали нам всего лишь рисовую кашу, с плавающим в ней большим куском масла и густо посыпанную сахаром. А шёл 1943 год. Этим детям долго уговаривали покушать, мама стояла на коленях, с тарелкой в руках и сладким голосом на узбекском языке уговаривала. Я не выдержала и взяла эту кашу, и принялась есть. Но, к своей гордости, я скажу, я не доела её до конца и сказала, что больше не хочу. Но чего мне это стоило!

Дома я рассказала обо всём, о каше, о детях и о своих страданиях. Папа сидел мрачный, а мама (о наши мамы!), она сказала: «Нинка не будь дурочкой, кушай, они ведь даже и не понимают твоих переживаний!» А папа добавил: «Как трудно быть честным человеком».

Тогда я ничего не поняла, а сейчас понимаю, что он думал.

Они часто, вернее всегда, когда ездили сами, брали меня на свою огромную дачу, где можно, оказалось, и заблудиться. Туда приезжал специальный повар из ресторана и варил плов. Я, когда впервые пробовала плов, подумала, что если бы я была царицей, ела бы только один плов. Наверно, те пловы и впрямь совершенно потрясающие, т. к. я до сих пор не ела лучше. Я люблю плов больше всего, и готова есть его действительно каждый день.

И рисовую кашу обожаю до сих пор. Что полюбишь в детстве, видимо остаётся навсегда.

Много замечательных часов я провела на их даче. И, хотя я была, в общем, ещё совсем маленькой, я всё почти помню. На этой даче росли цветущие кусты: сирень, бульденеж, сирийская роза, жасмин, и

множество фруктовых деревьев. Каждую весну это всё покрывалось цветами и благоухало так чудесно, так нежно и так волшебным, что даже мы, дети, стояли в первые минуты после приезда очарованными и потрясёнными. Мы играли, бегали, прятались в таинственной этой чаще, упиваясь ароматом и пьянея от него.

Мы возбуждались, кричали, прыгали и утихомирить нас взрослым стоило много сил. А ночью нам стелили цветные толстые ватные одеяла на специальном помосте, называемом “айваном”, и мы смотрели на звёзды, на тёмное небо, слушали таинственные шорохи сада и притихали, замороженные.

Будил нас хор птиц, острый, ароматный запах дымка, тянувшийся от растапливаемого очага под огромным котлом (прямо на воздухе, возле дома, нет, тогда ещё не дома, домика). Это начиналось священнодействие, под названием “готовка плова”.

Солнце ещё не показывалось, небо уже светлое, но не яркое. Но вот начинали светиться верхушки тополей, блестящие молодые листочки с бархатной изнанкой дрожали и переливались перламутром, зеленью и золотом, а потом окончательно выплывало солнце, и мы, дети, с криком вскакивали и бежали умываться к “хаузу”. Тогда ещё это бассейн, вырытый в земле. В последствие его отделали мрамором, подключили фонтан. Но это будет потом, нескоро. Там вырастет дом-громадина. И вообще потом уже всё по-другому: роскошно, по-восточному, и неинтересно.

А тогда! Тогда возникла и первая любовь. Наверно, в это трудно поверить, но это действительно любовь. Фируз и я, шёпотом сговаривались, и взявшись за руки, убегали от всех, и, затаив дыхание, садились где-нибудь в глубине цветов и деревьев, на траве, слушали стук сердца, и молчали, наслаждаясь близостью друг друга. Когда нас начинали искать, мы с тяжёлым вздохом выходили, и говорили: «Мы заблудились». Взрослые подшучивали над нами, и нам делалось неловко, и приятно.

Моим родителям нравилась эта дружба. А мама Фируза и Мары иногда сердилась за мои постоянные выдумки и фантазии. Но ни Мара, ни Фируз с места не трогались, если меня не брали с ними куда-нибудь.

Однажды мы всей их семьёй ходили на премьеру оперы “Бурон”, где Ашрафи считался “автором”. Кто истинный автор, я не знаю.

Организовали это грандиозно. Декорации, музыка, зрители, роскошно одетые. Присутствовал весь цвет Ташкента. Ашрафи завалили цветами и аплодировали. Папа с мамой сидели где-то в зале, а мы (семья Ашрафи и я) в первом ряду. Мы видели даже грим. Домой я ехала с моими родителями, потому что все Ашрафи остались в театре на банкете. Нас не пригласили из-за того, что папа не числился в друзьях Ашрафи, и вообще папу тогда ещё хорошо не знали в творческих кругах Ташкента.

По дороге я впервые услышала о том, что Ашрафи вовсе не сам написал эту музыку. Папа сказал, по-моему, очень неосторожно: «Вот подлец, ну как он людям в глаза смотрит, ведь все всё знают». Хорошо, что я никогда не болтала о том, что слышала дома, а то у папы уже тогда могли бы возникнуть большие неприятности. Папа вообще был очень неосторожен, поэтому в пятидесятом году его арестовали, как “врага народа”.

Дружбе с детьми Ашрафи я обязана многим, т. к. там бывали дети всех видных людей Ташкента. А в войну таких людей в Ташкенте жило немало. А в той квартире, что нам выделили в войну, да при той нашей бедности ни о каких гостях и знакомствах не могло быть и речи.

Я росла среди этих детей, я участвовала в их играх, в их разговорах и многому училась, и хотела учиться, и стремилась к знаниям, к чтению, слушала музыку и т. д. ...

Но с переездом на новую квартиру, наша дружба начала глохнуть. Во-первых, дети Ашрафи стали больше понимать, что они — АШРАФИ! Во-вторых, мы далеко жили. Ещё иногда я ходила к ним в гости, и их привозили ко мне на машине. Их удивляло: «Как это мы тут живём, всего в двух комнатах?!» Впрочем, потухла дружба, и больше уже никогда не возобновлялась. Я — девочка гордая, и перед ними не заискивала. Я не любила чувствовать себя ниже кого-то. Хотя я сохранила о них самые теплые воспоминания.

В новой квартире всё началось по-другому. Во-первых, это — настоящая, тёплая, уютная квартира, которую я полюбила всей душой. И я уже никуда и ни к кому не хотела уходить.

В эту квартиру и к нам ходили интересные и милые люди, любящие и уважающие моего папу.

У меня появились подружки, конечно, не того уровня, т. к. в доме и во дворе жили самые обыкновенные простые люди. И их дети — простые, но хорошие, добрые, весёлые, такие же бедные и озорные, как я. Самой близкой мне стала Ланка (от имени Светлана). Симпатичная, хорошенькая, весёлая хохотушка.

Познакомились мы с ней по анекдоту дочки той самой бедной Иры. Она пришла к нам, увидела пианино и спросила: «Это ты умеешь на пианино?» Я отвечаю: «Нет, мой папа». Она продолжает: «У меня есть одна знакомая, она тоже умеет». Я обрадовалась, думаю — это то, что мне надо. Все дети, бывающие у Ашрафи, учились музыке. Я сказала: «Ой, познакомь меня с ней».

Через день она приводит ко мне девочку. В стёганой сатиновой телогреечке, какие носили рабочие, в самодельных стёганных матерчатых сапожках, из-под телогреечки — цветная юбочка (зимой!) и в клетчатом платочке, из которого выглядывала смешная круглая мордашка.

Будучи ребёнком искушённым, я сразу поняла, что эта девочка никак не могла “уметь на пианино”. Но вдруг!

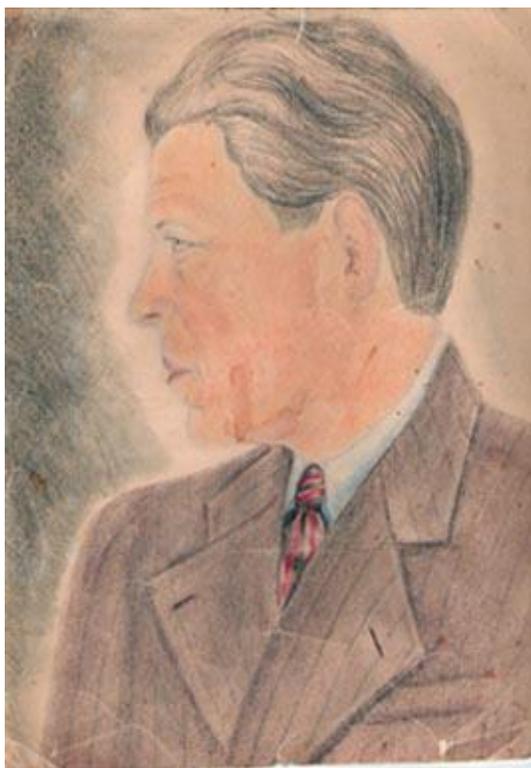
Я спрашиваю: «Ты умеешь играть на пианино?» Она говорит, очаровательно улыбнувшись, и при этом у неё немного закосил один глаз, придав ей вид и смущённый, и лукавый: «Не знаю, не пробовала».

Я засмеялась и ответила: «Попробуй». Она села на стул, и давай барабанить по клавишам изо всей силы. И говорит: «Смотри, получается». Так мы с ней и подружились. И многие годы она была моей самой близкой, самой родной, почти сестрой. Но, увы!!! Кончилась наша дружба трагически. В общем, вся жизнь её бедственная и страшная. И я до сих пор не знаю, жива она или нет. Скорее всего, нет. При той жизни, что она вела, женщины долго не живут. А ведь мне уже шестьдесят пять.

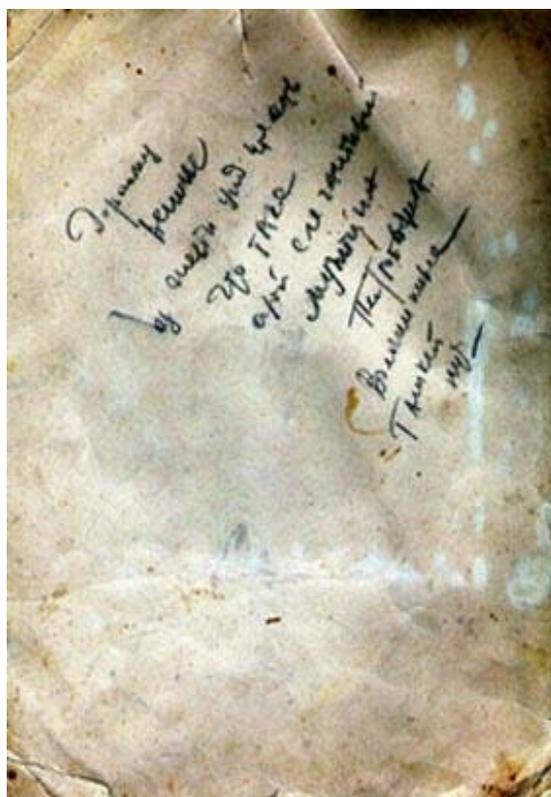
В этой квартире мы жили счастливо и интересно всего три года, а в октябре пятидесятого папу арестовали. Мне исполнилось тринадцать лет, маме сорок шесть, а папе пятьдесят четыре года.

Ещё задолго до ареста я поняла, что в доме какая-то беда. Папа непривычно молчал, иногда они с мамой беседовали шёпотом по ночам. Порой я слышала, как мама говорила: «Тебе надо бежать куда угодно. Они обычно не ищут». А папа отвечал: «Господи, куда?! А вы? Вас же не оставят в покое, вас выселят, тебя посадят, Нинку заберут в детдом. Нет, пусть лучше я, я один. Может, тогда вас не тронут. Ты же не работаешь, ты можешь выпасть из их поля зрения».

Мне делалось страшно и холодно. Я не понимала — кто это они. И однажды ночью я проснулась от того, что в доме горел свет, ходили какие-то чужие люди в сапогах, выбрасывали всё из шкафов, ящиков, что-то искали, и что-то находили. Например, папин портрет карандашом, нарисованный на четвертушке ватмана.



На нём папа был очень красивый. Его нарисовал один знакомый папы — художник. И подпись по-английски. Папу спросили — что здесь написано? Папа ответил: «Другу и джентльмену от поклонника».



— А почему на английском?!

- Да просто так, ради шутки.
- Ах, ради шутки. И кто же этот шутник?
- Не помню.
- Ничего у нас вспомните.

И забрали с собой этот рисунок. И, как ни странно, из всего, что они тогда взяли, именно этот рисунок вернули папе, когда его освободили, после реабилитации. Конфисковали много фотографий, особенно групповых, много писем, книг, если там были дарственные надписи. Но ничего существенного, они, конечно, не нашли. Потом, завернули папе руки за спину и повели к дверям. Папа рванулся ко мне: «Прощай, доченька!» А я не знаю до сих пор почему, вдруг я отпрянула от него, не сказала в ответ ничего.

После ареста папы (7)

Когда его увели, я долго плакала. Мама не утешала меня, а сама не плакала. Она сидела в кресле у окна, молча, сжав губы. Возникало впечатление, что она ничего не слышала, не видела и не понимала. Я, проплакав часа два, подошла к ней. Она, не глядя на меня, погладила меня по голове и сказала — спокойно так, буднично: «Вот и нет у нас больше папки. Одни мы с тобой остались. Ничего, ничего, ничего».

Долгие годы я не понимала свою маму. Я считала её сухой, суровой, неласковой. И только теперь, будучи уже совсем пожилой, много пережившей женщиной, я начинаю понимать её, понимать и запоздало любить. При всей своей любви к папе, при всей теплоте и нежности к нему, я понимаю теперь, что мама более крупная, цельная, незаурядная личность. Папа много раз говорил мне об этом. Он считал, что она могла бы достичь многого в жизни, если бы хотела. Но беда заключалось в том, что обстоятельства жизни, постоянная ответственность за папу, который в повседневной жизни оказывался настоящим ребёнком, она несла ответственность за него, за меня, за Рудика, за тётю Риву. Революция, война, эвакуация, папин арест, борьба за выживание — всё это сделало её равнодушной к карьере и к какому-либо творчеству.

Кроме того, она к пятидесяти годам почти совсем ослепла и сделалась очень больным человеком. Жестокая стенокардия и жуткая аритмия сердца привели к постоянным сердечным приступам, которые мама переносила удивительно мужественно. Никогда не жаловалась на болезни, не говорила о них, но тихо, тайком переносила страшные боли, сосала нитроглицерин тоннами. Мама никогда не лечилась, т. к. не верила в нашу медицину. Она убеждала: «Если вы положите меня в

больницу, я там сразу умру». Так и получилось. Она умерла в больнице через восемнадцать дней после того, как мы её туда увезли. Сейчас я не хочу писать об этом. Позже я подробнее напишу о последних её днях.

А тогда, когда увели папу, мама долго сидела в кресле с сухими глазами. Мама обладала удивительной способностью собираться, сжиматься, как пружина, в трудную минуту. Так и сейчас она ни разу не заплакала.

Но с этого дня, она вставала с утра и шла на улицу Дзержинского, где располагалось ташкентское КГБ. В подвалах этого дома находилась следственная тюрьма для политзаключённых. Каждое утро, как и ещё огромное количество людей, тоже пришедших туда, она выстаивала дикие очереди, пытаясь узнать — где и что с папой. За что, она, вероятно, знала, потому что, когда я спросила однажды маму: «За что посадили папу?», мама ответила: «Ни за что, за то, что он известный композитор, за то, что — честный человек. И за то, что он говорил о том, о чём ни в коем случае нельзя говорить» — «О чём?» — спрашивала я. Мама сказала: «Вообще ни о чём. Поняла? Ни о чём!», — ещё раз повторила мама и добавила: «А всё то, о чём ты слышала, или услышишь, или узнаешь дома, или у кого-нибудь в гостях, ты никому никогда не должна говорить. Даже Ланке! Поняла?»

Да, я поняла, я очень хорошо поняла. И это однажды послужило мне хорошей службой. Я вообще, очень рано начала многое понимать. Хоть это и не помешало мне верить в пионерию, в комсомол, в Сталина.

Я как-то не связывала всё то, что я узнала за эти годы, что папа провёл в заключении, с тем, во что нас призывал верить комсомол.

С момента ареста папы у нас началась совсем другая, очень страшная, какая-то нереальная жизнь. Кроме того, жизнь получилась какой-то раздвоенной, потому что в школе, я так думала, никто не знал об аресте папы ничего, и я до конца скрывала правду. Это очень трудно и унижительно. На нас накатил жуткая бедность, а вернее нищета, т. к. после суда у нас конфисковали всё имущество, даже мебель и новое постельное бельё. Мы с мамой остались в пустой квартире без копейки. Мама пыталась устроиться на работу, но с первой же попытки один добрый старик, начальник отдела кадров — вышел с мамой в коридор и тихонько, на ухо ей сказал: «Деточка, если ты хочешь жить и сохранить свою дочку, ты не должна даже пытаться устроиться на работу, зачем тебе обращать на себя внимание. А принять тебя — всё равно никто не примет. Лучше, мой богатым полы и стирай бельё. Корона с головы не упадёт, но вы останетесь живы».

Спасибо ему, т. к. теперь, читая книги об этом времени, я поняла, что мы спаслись только потому, что, когда папу арестовали, а мама уже давно нигде не работала. Из квартиры нас почему-то не выселили. Я думаю потому, что этот столетний дом считался по документам

аварийным, и на него никто не позарился. Смешно, но этот “аварийный” дом устоял во время страшного землетрясения 1966 года, и после косметического ремонта, мы в нём ещё год жили. А вокруг гораздо более новые и крепкие дома разрушились.

Мне теперь очень хочется рассказать о том периоде с 1950 по 1954 год, когда мы с мамой жили без папы.

Во-первых, я очень долго страдала из-за того, что я с папой не попрощалась. Потом ланина мама сказала, что это хорошая примета — значит, он обязательно вернётся. Во-вторых, однажды я ходила с мамой на улицу Дзержинского и меня потрясло — сколько людей там оказалось. Но это не главное. Мне всегда казалось, что люди, которых сажают в тюрьму, это и не люди даже, это — “преступники”. И их родственники должны быть такими же — грубыми, невежественными, пьяницами и вообще — отбросами общества. И вдруг... Первой, с кем меня познакомила мама, а она уже там многих знала, и они встречались, как близкие старые друзья, оказалась очаровательная женщина лет сорока пяти, с живыми глазами, но очень худая. Мама представила мне её так: «Княгиня Прозоровская. Художница. Они с мужем, которого посадили, приехали из Франции всего несколько месяцев тому назад». Я недоумевала. Разве так может быть? Княгиня! Я впервые в своей жизни видела живую княгиню. Её муж тоже художник. И за что же его посадили? Ведь он не еврей, здесь ещё никому неизвестен и говорить ни о чём ещё ни с кем не успел.

Мне объяснили: «За то, что он, будучи пятнадцатилетнем ребёнком, вместе с родителями бежал во Францию от советской власти в 1918 году. Кроме того, он, оказывается, ещё и находился во время войны на территории, оккупированной немцами». Всё это мне становилось трудно понять, да я думаю, это было и ненужно. Она, Прозоровская, зря мне принялась это рассказывать. Мне всего тринадцать лет. В последствие, я узнала, что Прозоровскую тоже куда-то интернировали — вглубь Узбекистана, где она и умерла от голода. Это так ужасало, что я до сих пор не могу об этом вспоминать без боли.

А тогда она заговорила со мной по-французски. В школе я учила французский и немного болтала (с небольшим запасом слов), благодаря маме, которая неплохо знала французский. Мне стало ужасно интересно. А она тогда пошутила: «Ты знаешь, у нас во Франции даже дворники и прачки говорят по-французски». Я вытаращила глаза и сказала: «Не может быть». И только, когда она рассмеялась, я поняла, в чём соль и тоже рассмеялась. Она мне очень понравилась.

Тогда, и в последствие мы познакомились со многими очень интересными людьми. Там нам встретилась жена генерала артиллерийских войск с девочкой лет пяти, милая, ещё молодая. Там в очереди ждала очень-очень измученная, княгиня Сегеди. Её отец работал

начальником полицейского управления в Грузии — до революции. Они тоже бежали в Париж. Она тогда ещё не потеряла всю прежнюю красоту. Однажды мы пришли к ней с мамой. Она жила в ужасном, полуразрушенном глинобитном доме — без света, окно закрыто фанерой — без стёкол, без печки, без ничего. Там она при свече показала мне свой портрет изумительной красавицы в бальном платье, это — она. Я даже вскрикнула, когда она это сказала. Перед нами уже стояла сгорбленная, несчастная, не очень чистая старуха, одетая в ужасное тряпье. Её детей — сына и невестку посадили сразу, по прибытии на границу. Её оставили, и она очень быстро умерла. А с сыном её мне довелось быть знакомой. Папа, оказывается, познакомился с её сыном ещё в лагерной пересылке. Папа вышел на свободу раньше него. И, когда освободили сына Сегеди и его жену, папа первым пришёл к ним, принёс им продуктов, одежду, они с папой оказались одного роста. Папа дал им немного денег на первое время. Сегеди не забыл этого, и папа долго поддерживал с ним отношения. Потом они куда-то уехали.

Там же мы познакомились с одной очень интересной женщиной — Клим Юлией Григорьевной. До приезда в Советский Союз она жила в Шанхае. Её муж инженер, его вместе с семьёй отправили из Советского Союза в Шанхай на строительство КВЖД. Юлия Григорьевна имела удивительный голос, и она стала там учиться петь у хорошего педагога с итальянской школой. Скоро она стала в Шанхае известной певицей. Там её познакомили со многими известными людьми. В частности, они подружились домами с семьёй Вертинского.



Юлия Григорьевна мне ужасно нравилась внешне — сжатая, высокого роста блондинка с длинными ногами. Живая, весёлая, всегда хорошо одетая, очень следящая за собой. Я думала — у неё всё хорошо.

А оказалось, что во время китайско-японской войны, японцы предложили всем русским уехать куда угодно. Их три сестры. У одной из сестёр сын и у Юлии Григорьевны тоже сын. Сыновья очень дружили друг с другом, т. к. были одного возраста. Оба учились в каких-то английских закрытых школах. Муж у Юлии Григорьевны умер ещё в Шанхае до войны. Две сестры решили ехать в Америку, а Юлия Григорьевна с сыном захотели: «На родину, только на родину! Сталин же в пятидесятые годы объявил, что все, бежавшие в революцию из СССР, могут вернуться, потому что он всех прощает, и им возвратят гражданство». Многие тогда поверили, и потому приехали. Ехать в Советский Союз решил и её племянник — сын одной из сестёр. Их многие отговаривали, им рассказывали обо всём, что у нас здесь происходит, но они не верили ни единому слову. И приехали. Тут же в аэропорту их всех троих арестовали и отправили в разные лагеря — на лесозаготовки. Но как-то так получилось, не знаю, как её почему-то быстро выпустили и отправили в Ташкент, а сына и племянника — нет. В последствие мы с ней подружились. Она стала самой близкой маминной подругой. Она часто рассказывала о Шанхае, о жизни там, о людях, о нравах, о китайцах. В её лексиконе присутствовало много английских и китайских слов. Но голос на лесозаготовках она потеряла и петь уже не смогла. Папа как-то прослушал её и сказал, что она великолепная певица, но у неё вдруг посреди фразы перехватило горло, и вырывался только хрип. Она зарабатывала тем, что давала уроки музыки частным образом. И всё время писала письма с просьбами об освобождении сына. И верила, и ждала и ни минуты не сомневалась, что освободят её мальчиков. Мама тоже писала. Но всё это происходило потом.

А тогда — в первые месяцы — это только очереди. Затем прошёл суд рядом с нашим домом. Конечно, суд вёлся закрыто, я не знаю, как мама узнала, когда и где он состоится. Мы с мамой сидели в какой-то тёмной коморке, боясь пошевелиться, но мы в замочную скважину видели папу. Честно сказать, я бы его не узнала, если бы не знала, что это папа. Я просто его таким не видела — обритым наголо, в какой-то очень странной одежде. Рядом с нами стояли два молоденьких солдата с автоматами и всё шептали: «Ну, хватит, посмотрели, уходите, уходите».

Но после суда нам вдруг разрешили на секундочку свидание. Я бросилась к папе и стала плакать навзрыд, и кричать: «Папочка! Папочка!», но тут меня чем-то сильно толкнули. И тут заплакал папа. И его быстро увели. Вот и всё наше свидание. Кажется, мама тоже плакала.

Но мы ещё раз виделись — на пересыльном пункте. Пересыльный пункт располагался далеко за городом. Туда не ходили автобусы. Сначала мы ехали поездом, а потом долго-долго шли пешком. Рядом с нами, впереди нас, сзади нас шли люди, в основном женщины и дети. Шли, шли, шли, как показывают в фильмах о войне, когда по дорогам

идут беженцы. Нас скопилось очень много. Шла зима, но стояла ужасная жара, сильно палило солнце, — а вокруг степь, ни жилья, ни реки, ни озера. Люди хотели пить, особенно дети. Мне тринадцать лет, и я уже умела терпеть.

Пришли мы к какому-то домику, вокруг которого тянулась колючая проволока — на огромное расстояние. Все сначала стояли, потом сели, прямо на землю, благо зима выдалась сухая. И долго сидели. Я хотела есть, но мама сказала: «Это папе». И вот вдруг уже солнце садилось, все заволновались, закричали: «Ведут, ведут!». И правда, показалась колонна. Вели мужчин, со всех сторон — военные с автоматами. Все кинулись к ним, давя друг друга. Мы тоже. И чудо! Мы увидели папу! Он махал нам рукой, что-то кричал, смеялся и плакал.

А потом почему-то я ничего не помню.

Но поздно вечером мы с мамой попали в тот домик. Видимо мама всех подкупила что ли. Мы сидели с папой рядом, я обнимала его за талию, он гладил меня по голове, и они с мамой говорили. Я не слушала о чём. Мне так хорошо и так плохо! Вокруг нас в домике присутствовало много людей, кто сумел добиться свидания. Надо сказать, в Узбекистане вообще проще, и не так свирепо и жестоко проводились все эти репрессии. Узбеки больше россиян понимали, что над народом проводилось насилие. Они ещё сравнительно недавно прочувствовали на своей шкуре — во время так называемой борьбы с басмачами.

Больше, до 1954 года, мы папу не видели. Письма мы получали случайно, т. к. в течении пяти лет нам запретили переписываться. Посылки могли посылать — раз в три месяца, без писем, но мы писали и получали несколько раз письма. Нам привозили письма также освобождённые уголовники. Об этом немного позже.

О маме после суда над папой, "врагом народа" (8)

А сейчас я расскажу о том, что произошло сразу после суда.

Дело в том, что приговор суда гласил: «Высшая мера наказания — расстрел, с заменой на 25 лет лагерей особо строго режима. Плюс конфискация всего имеющегося имущества». Об этом мы, конечно, узнали много позже. Им, конечно, мало казалось лагерей и 25 лет для пожилого пятидесяти четырёхлетнего человека. Важно ещё и семью разорить и пустить по-миру. Какого имущества? Что он какой-нибудь коммерсант, уголовник, артельный жулик? Они ведь понимали, что у нас особенно-то поживиться-то нечем — у беженцев через пять лет после войны, только-только начинающим вставать на ноги. Нет, это сделали

для того, чтобы папе стало ещё страшнее, ещё больнее — уже не за себя, а за нас! Он в ужасе думал каждую ночь, не мог заснуть и всё думал, думал, я — маленькая, мама ничего такого делать не умеет, да и не примут её на работу. Чем же мы жить будем? В пустой квартире, голодные, для всех опасные (по тем временам). Кто нам поможет, кто накормит? И он оказался прав.

Мама ходила, как каменная. Она не плакала, но я понимала, что такое горе, такая безвыходность могла убить любого человека. Но не маму. Мужество моей мамы не поддаётся никакому разумению. Она никогда не плакала.

И вот, в часа три ночи, сразу после суда, раздался стук в дверь. Мы обе проснулись, и замерли, т. к. обе испугались и подумали: это теперь за мамой. Мама встала и подошла к двери. У нас двери до половины были стеклянными. Мама увидела за дверью человека. Одного. Мама, не долго думая, открыла. Стоял молодой человек, узбек. Он, не здороваясь, прошептал: «Сегодня утром, через час или два, придут описывать имущество. Хоть что-нибудь, самое ценное вынесите из дому. Спрячьте...» и всё. Повернулся и ушёл. В последствие мы узнали, это приходил последний из папиных следователей. Позже, уже после заключения, он рассказывал: «Их было много. Почему-то их постоянно меняли. Самый страшный, мерзкий, грубый и жестокий — первый, украинец».

Потом я отдельно расскажу обо всём, о чём рассказывал нам папа о тех четырёх годах, что он провёл в заключении.

И вот следователь ушёл. А что делать нам в три часа ночи? К кому можно стучать? Кого будить? Кого подвергать опасности, и немало! Ну, хорошо, вынесем мы из квартиры, а куда спрячем, если не к людям?

И мама решилась.



Во всём дворе жила только одна еврейская семья — очень порядочные люди. До всего этого мы с ними немного (очень немного) подружились. Это в то время очень больные и старые муж и жена, и их дочь — почти ровесница мамы, милая, тихая, скромная, очень интеллигентная женщина, никогда не выходявшая замуж, она, Лия Самуиловна Грач стала в последствии нашей родной тётёй Лизой. К тому времени, о котором идёт речь, её родители уже умерли друг за другом в один год. И она сначала жила одна. Потом к ней перебрался её брат Захар Наумович Бегун, тоже никогда неженатый. Довольно суровый, неразговорчивый человек, намного старше своей сестры. Он не очень хорошо относился к папе, потому что считал, что папа говорит много того, чего говорить нельзя. Он работал где-то в торговле ревизором — очень честным и неподкупным.

Когда папу взяли, он сказал: «Я так и знал. Болтать надо было меньше».

Кстати, через три месяца его взяли тоже, молчаливого и осторожного. Но тогда тётя Лиза и он жили вместе. Что оставалось делать? Мама понимала, что она может получить отказ, и всё-таки решилась. Постучала. Через некоторое время они пришли втроём. И все втроём стали быстро выносить то, что мама посчитала ценным. Этих ценных вещей немного: портрет Листа хорошего художника и в хорошей раме, две напольные китайские вазы, ковёр ручной работы — большой, и палас — тоже ручной работы. Вот и всё. Мои родители очень любили такие вещи, в ущерб необходимому. Через час мы уже лежали в постелях.

Пришли в пять утра. Описали всё, вплоть до круглого стульчика у пианино. А уже в следующую ночь приехали и всё вывезли. Мы остались без мебели, без постельного белья, без малейшей тряпочки, которую можно назвать отрезом. Даже большой узбекский казан, который папе подарили на его пятидесятилетие — и тот забрали. И мама опять не плакала. Я тоже — понемногу училась у мамы — не раскисать.

Вот так я вошла в третий период своей жизни. С тех пор началась большая дружба моей мамы и этой семьи. Они ничего не испугались, эти удивительные скромные, немного суровые люди. Все наши близкие друзья, кто приходил к нам в дом во времена для нас счастливые и благополучные — все отвернулись. Я их не осуждаю у всех семьи, дети, внуки. Они боялись всех и всего. Такие уж наступили времена.

Но, есть ещё одна подробность трогательная, дающая надежду, что все они всё-таки оставались людьми. Где-то дней через пять, тоже глубокой ночью, опять стук в дверь. Мы подумали: «Вот теперь всё! — За мамой». Мама опять открыла, ничего не спрашивая. На крыльце стоял один из ведущих актёров театра, где работал папа — пожилой, очень талантливый актёр Давыдов. Он, ни слова не говоря, протянул маме конверт и сказал: «Вот вам на первое время всё, что мы смогли собрать. От нашей братии». И быстро, быстро, как-то согнувшись, ушёл. Там лежали деньги. Я не знаю, сколько. Но мама заплакала. И для меня это было самое удивительное.

Потом пошли наши самые страшные, самые одинокие, голодные и унижительные месяцы. Мама, не смотря на совет старого кадровика, вначале пыталась устроиться на работу, но её нигде не брали, т. к. везде заполнялась анкета, где существовала графа: есть ли в семье репрессированные. И мама бросила ходить по учреждениям.

Сначала мы жили на то, что нам принёс Давыдов. Потом мама продала очень дёшево вазу, потом Листа, потом палас. А ковёр она никак не могла продать — т. к. его не вынесешь на улицу — он очень большой и тяжёлый. А в дом к нам никого нельзя приглашать. Так он и остался у нас. И сколько я себя помню — я помню этот ковёр. Его вешали на стенку, он спускался на диван, покрывал его и ложился на пол. Я так любила устраиваться на этом диване с книжкой, я до сих пор помню это чувство уюта, надёжности и привычности.



Жаль, в последствие, уже после смерти мамы и папы, я положила его на пол. Таково веянье моды.

Ну вот, когда кончались эти деньги, маме удалось найти ученика, отстающего по русскому и литературе. Мама занималась с ним, и он быстро стал одним из первых учеников в классе по этим предметам. Тогда родители посчитали, что больше ему не стоит заниматься с мамой. Потом мама устроилась работать за кого-то приёмщицей в химчистку. Она сидела в маленькой фанерной будочке на самом открытом месте, где летом никакой тени, и стояла ужасная жара, что маме делалось плохо с сердцем, а зимой так холодно, что мама почти всё время дрожала. Я после школы приходила туда к ней пешком, хоть это место находилось от нас довольно далеко, потому что на трамвай у меня не хватало денег. А тогда, между прочим, ввели новую систему оплаты транспорта — за каждую остановку добавлялось двадцать копеек. До мамы стоило рубль двадцать. На эти деньги мы могли купить два пирожка с ливром (ухо, горло, нос — их так и называли) и стакан воды с сиропом!

Я приносила маме хлеб и горячий чай в бутылке, завёрнутый в газету в несколько слоёв. И даже этот хлеб я маме пыталась подсунуть как-нибудь незаметно. Я за этим строго следила. Мама тогда похудела, что на неё стало страшно смотреть. Она, вообще-то красивая женщина, превратилась в старуху. И у неё вдруг поседели виски. Хотя до этого не обнаруживалось ни одного седого волоса. В этот же период произошёл

случай, который я до сих пор вспоминаю с удивлением и благодарностью. Казалось бы, ничего особенного, но всегда, когда я вспоминаю маму мне приходит на ум этот эпизод.

Эта химчистка стояла очень близко от городского парка «Победа». Парк этот — очень красивый, тенистый, огромный,— тянулся вдоль большого искусственного, но живописного озера. Строили его комсомольцы — так считалось, возможно заключённые, на месте того оврага, куда мама когда-то ходила покупать табак для папирос. Днём в этот парк вход свободный, а с восьми часов он стоил рубль. Мама заканчивала работу в шесть вечера, и мы с мамой шли купаться на это озеро. О! Это так чудесно! После ужасной жары окунуться в тёплую чистую воду! Над водой, наклонившись и полоща свои длинные ветви, почти вдоль всего озера росли плакучие ивы. Под этими ветвями вода казалась тёмно-зелёной, таинственная тень наполнялась тайной и запахом сырой земли и воды. Я в том возрасте уже начинала мечтать и фантазировать, мне везде мерещились тайны и красота потрясала меня до слёз. Мама относилась к этому с лёгкой иронией, но не смеялась.



Мы купались с мамой до позднего вечера, пока не спадала жара, т. к. по жаре идти утомительно и не нужно.

На берегу мы доставали то, что было у нас припасено — по кусочку хлеба с помидоркой, или варёной картошечкой. Благо летом в Ташкенте жить можно — фрукты, овощи, зелень стоили такие копейки, что даже мы могли их купить.

Ещё у нас на веранде рос большой куст винограда чудесного сорта — Мускат. Этот куст каждый год давал такое количества ягод, что мы ели его целое лето, не срывая всё сразу, а так, по мере созревания.

Виноград был таким сладким, таким ароматным! Его никто не воровал, т. к. двор наш запирался на калитку, а соседям это не нужно.

Так вот, однажды, мы купались в озере уже под вечер, я заметила, что к нашим вещам подошёл какой-то парень — здоровый, высокий, не очень приятной наружности. Я быстренько подплыла к берегу и вылезла. Парень увидел меня и расплылся в нехорошей улыбке: «О-о-о!», — сказал он, — «Какая куколка! А я-то думаю — где бы мне добыть маленькую беленькую овечку! А она сама нарисовалась!» Схватил меня в охапку и потащил под иву. Я дико закричала: «Мама!» и стала отбиваться. Куда там — эти ручища как из железа. И вдруг из воды выскакивает мама. Я увидела маму, но не поняла, что это она. Я не узнала её. Была не женщина, это была фурия. Её глаза вылезли из орбит и горели страшным огнём, маленькая, худенькая, она выставила вперёд свои маленькие хрупкие кулачки с выдвинутыми вперёд средними пальцами и кинулась на этого бугая сзади, глухо, по-звериному рыча: «Ах ты гад, немедленно отпусти её, иначе я убью тебя!»

Это со стороны, наверно выглядело смешно, но он испугался! Да! Он испугался и выпустил меня. Он обернулся к маме и проговорил каким-то хриплым голосом: «Да ты чё! ты чё! Я пошутил, я пошутил!» А мама всё шла и шла на него, сверкая своими большими серыми глазами! И он повернулся и убежал. Конечно, сейчас этот номер бы не прошёл. Теперешние бандиты просто бы придушили маму. Но тогда, этот тип, вероятно, почувствовав ту недюжинную силу духа моей мамы, и поверил, что она могла убить его, как маленькие птички родители иногда убивают больших и страшных по сравнению с ними животных.

Я долго вспоминала этот случай. А мама как-то сразу успокоилась, и мы с ней долго смеялись по дороге домой, вспоминая, как она выскочила из воды, как она испугалась, что не успеет доплыть, как она кинулась на него!

Но с того дня мы с мамой уже больше не купались в пустынных местах, а шли на пляж, где в это время отдыхало много пожилых людей, многие с детьми и было не страшно. В дальнейшем у мамы появилась подруга — бесстрашная, авантюрная женщина с мужским лицом и характером. Она работала заведующим “Домом ребёнка”. Она послала маму с чужими документами на курсы диет.сестёр, а потом взяла её в этот “Домом ребёнка” диет.сестрой и сестрой хозяйкой. Вот тогда, мы уже перестали голодать. Нет! Мама ничего не воровала и не отбирала у детей! Боже сохрани!

EXIT NEXT